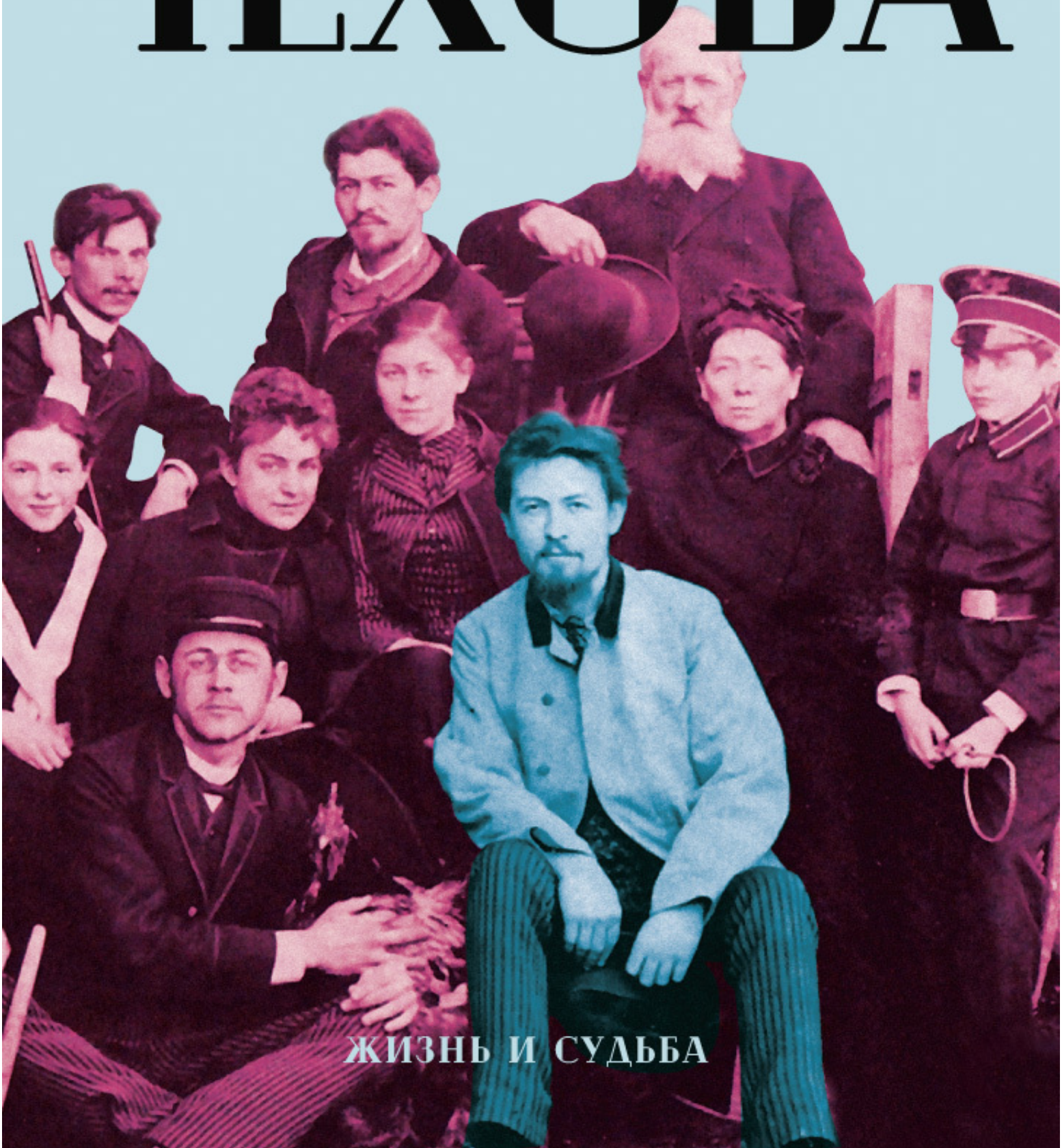
• ВОКРУГ •

ЧЕХОВА



ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Воспоминания о писателях

Сборник

Вокруг Чехова. Том 1. Жизнь и судьба

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 882(092) (093.3)
ББК 83.3Р1

Сборник

Вокруг Чехова. Том 1. Жизнь и судьба / Сборник — «РИПОЛ Классик», 2018 — (Воспоминания о писателях)

ISBN 978-5-386-10757-4

В том вошли воспоминания родных братьев Антона Павловича Чехова – Николая, Александра и Михаила, составляющие картину как детских, так и зрелых лет жизни писателя.

УДК 882(092) (093.3)
ББК 83.3Р1

ISBN 978-5-386-10757-4

© Сборник, 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

Вспоминают Чеховы… 5
Жизнь Павла Чехова 17
Н. П. Чехов. < Детство > 19
Ал. П. Чехов. В греческой школе 22
В гостях у дедушки и бабушки 36
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Вокруг Чехова. Жизнь и судьба Составитель Сахарова Евгения Михайловна

Вспоминают Чеховы…

«Он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти»[1], – писал К. И. Чуковский в своей книге «О Чехове». И с этим трудно не согласиться. Чехов в течение двух десятилетий находился в центре литературной жизни, был связан со многими писателями, художниками, артистами. Его личное обаяние притягивало к нему людей разных сословий, социального положения, возраста. Многие из них оставили воспоминания, полный свод которых составил бы, вероятно, несколько солидных томов. Лишь часть из наиболее интересных и значительных воспоминаний выходила в свет в составе сборников «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (издания 1947,1952,1954,1960,1986 годов).

В этом своде мемуарной литературы как-то затерялись, а иногда ушли в тень воспоминания родных Чехова, членов его семьи, живших рядом и постоянно общавшихся с ним. Так, например, в издании сборника «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» 1986 г., богатом и интересном по своему составу, совершенно отсутствуют как разбросанные по различным советским публикациям, так и затерявшиеся в дореволюционных сборниках воспоминания братьев и сестры Чехова. В результате читатели этой книги знакомятся сразу с Чеховым – начинающим писателем. Выпадает, таким образом, очень важный период духовного развития писателя, его детство и отрочество, имевшие большое влияние на формирование личности писателя, его творчества.

Одна из задач данного издания – восполнить этот пробел.

Как-то раз, рассматривая этюды Марии Павловны Чеховой, друг чеховской семьи художник И. И. Левитан воскликнул: «Какие же вы, Чеховы, все талантливые!» И действительно, природа богато одарила детей разорившегося таганрогского лавочника, бывшего крепостного Павла Егоровича Чехова. Александр и Михаил стали литераторами, Николай – художником, Иван оставил добрую память, будучи учителем. И, наконец, Мария Павловна, прожившая самую долгую жизнь, была и художницей, и мемуаристкой, создательницей и хранителем Музея А. П. Чехова в Ялте.

Талантливым оказалось и следующее чеховское поколение. Это и знаменитый актер Михаил Чехов, сын старшего брата Чехова Александра Павловича, и дети младшего брата – певица Евгения Михайловна и художник Сергей Михайлович. Все они, независимо от основной профессии, были наделены и литературным даром.

Собранные вместе мемуарные свидетельства трех поколений Чеховых составляют своеобразную семейную энциклопедию, содержащую интереснейшие, а часто и уникальные сведения о Чехове, людях, его окружающих, обо всем, что входит в емкое понятие «мир Чехова» и чрезвычайно обогащает наше представление о том, что собой представляет этот мир.

Семейная летопись была начата еще отцом писателя и называлась «Жизнь Павла Чехова». Первая дата в ней, относящаяся к 1825 г., гласит: «Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых». А далее с тщательностью и

[1] *Чуковский К.* О Чехове. М., 1967. С. 3.

присущей ему аккуратностью Павел Егорович заносил сюда все важные события жизни своей семьи. Вот запись 1860 г.: «Родился у нас сын Антоний 17 января».

Когда Чехов приобрел под Москвой имение Мелихово, Павел Егорович начал вести мелиховский дневник, куда регулярно вносил самые разные сведения: о погоде, урожае, приезде и отъезде гостей и т. д. Дневник этот, полностью, к сожалению, до сих пор не изданный, – ценнейший источник для специалистов, занимающихся изучением жизни и творчества писателя. Есть там и строчки, принадлежащие Чехову, выдержанные в духе и стиле отцовских заметок, с известной долей юмора. Например: «Баран прыгает. Марьюшка радуется» (15–16 марта 1893 г.) [2]. Записи оборвались лишь со смертью Павла Егоровича. Отрывки из мелиховского дневника приведены Михаилом Павловичем в публикуемых в этом издании мемуарах (см. с. 288). «Мне кажется, – писал Чехов сестре 14 октября 1898 г., – что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни».

Так оно и случилось – в 1898 г. кончилось «мелиховское сидение» чеховской семьи, начался ялтинский, последний период жизни писателя.

Первым мемуарным очерком о Чехове следует, вероятно, считать воспоминания его брата художника Николая Чехова. Писались они в 1889 г. на Украине, куда Чехов привез угасающего от чахотки Николая. Уже не имея физических сил заняться живописью, Николай решил обратиться памятью к далеким годам детства, не думая, конечно, ни о публикации своих заметок, ни о мировой славе брата Антона, когда драгоценной станет каждая строка воспоминаний о нем.

Не только родственная, но духовная, творческая близость связывала братьев. Сохранилась фотография: Антон Павлович внимательно и заинтересованно следит, как движется рука Николая, набрасывающего рисунок, – возможно, к рассказам самого Чехова. Братья сотрудничали в одних и тех же журналах – «Зритель», «Будильник» и др. Николай иллюстрировал раннюю повесть Чехова «Зеленая коса», юмореску «Свадебный сезон», первый, не вышедший в печать сборник рассказов, ряд других произведений. Его рисункам присущи изящество, грация, юмор – черты, отличавшие и ранние вещи Антоши Чехонте. Николаю принадлежит также ряд больших живописных полотен («Гуляние первого мая в Сокольниках», «Въезд Мессалины в Рим» и др.). Участвовал он и в росписи стен Храма Христа Спасителя в Москве. Веселый, общительный, необычайно добрый, Николай был дружен со многими художниками и любим ими. И. Левитан, К. Коровин, Ф. Шехтель стали друзьями и Антона Павловича. Современники вспоминают, каким одаренным музыкантом был Николай, замечательно игравший на рояле и скрипке.

Нежно любя брата, Антон Павлович со всевозрастающей тревогой наблюдал, как беспечно относится он к своему таланту, ведет беспорядочную жизнь, покучивает, не выполняет взятых на себя деловых обязательств. Болью проникнуты строки его письма старшему брату Александру (20-е числа февраля 1883 г.): «Николай… шалаберничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош».

В марте 1886 г. Чехов пишет Николаю замечательное письмо о том, каким должен быть воспитанный человек (он обязан уважать «человеческую личность» и «чужую собственность», не лгать, не быть суетным и т. д.). И главное: воспитанные люди если «имеют в себе талант, то уважают его… Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой…»

[2] Записи, сделанные А. П. Чеховым, полностью опубликованы в Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (М., 1980. Т. 17. С. 230–232).

И. А. Бунин прозорливо заметил, что из этого письма «можно понять, как А. П. сам себя воспитывал, как он был строг к себе»[3].

Опасения Чехова оправдались – Николаю удалось сделать гораздо меньше того, что можно было бы ждать от его таланта: остались недописанными картины, неосуществленными замыслы. На полуслове оборвались и его воспоминания: Николай умер в то же лето 1889 г. на Украине, когда и набрасывал их строки.

В его мемуарном наброске идет речь о раннем детстве братьев Чеховых. Описываемые события, как можно заключить из текста («двадцать три года назад»), следует отнести к 1866 г., когда Александру было 11, Николаю – 9, Антону – 6, а Ивану – 5 лет. Знаменательно, что уже в это время Николай отметил в шестилетнем Антоне и богатство воображения, и талант импровизации, и склонность к внутренней сосредоточенности при веселости и общительности характера.

Вскоре после смерти Антона Павловича стали появляться в печати мемуарные очерки его старшего брата Александра Павловича. Это была, по свидетельству всех знавших его, личность талантливая, оригинальная. «…Интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, сострадательный, изумительный лингвист и своеобразный философ», «одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить», – так характеризует Александра Павловича брат Михаил.

Его сын, артист Михаил Александрович Чехов, преклонялся перед своим отцом.

«…Я уважал его и даже благоговел перед ним… Эрудиция его была поистине удивительна: он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и т. д., владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется, в 2–3 месяца, изучил финский язык»[4].

По свидетельству И. А. Бунина, «Александр Павлович был человек редко образованный, окончил два факультета – естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался и в философских системах. Знал много языков <…> человек на редкость умный, оригинальный». Но тут же Бунин замечал: «ни на чем не мог остановиться» [5]. Эти особенности личности Александра Павловича ярко иллюстрируются оставленным им литературным наследием – он писал рассказы, очерки, исторические романы, редактировал журналы «Слепец», «Пожарный», был автором брошюр «Исторический очерк пожарного дела в России», составил «Химический словарь фотографа» и т. д.

В этом обширном и пестром литературном хозяйстве сохранили ценность прежде всего воспоминания об Антоне Павловиче и письма к нему. Переписка братьев (известно 381 письмо Александра и 196 писем Антона) является ценнейшим источникам для понимания творческой личности Антона Павловича, его этики, литературно-критических взглядов. Кроме того, чтение этих писем, где братья как бы соревнуются друг с другом в юморе, где разбросана масса интересных, тонких и точных наблюдений, общих воспоминаний, может доставить читателю и эстетическое наслаждение[6].

Раскрывают они и характер отношений братьев.

Александр Павлович, обремененный большой семьей, вынужденный постоянно думать о заработке, в литературной работе был не всегда требователен к себе, в спешке недостаточно отделывал свои рассказы, бывал груб и несдержан в семье и также, как и Николай, злоупотреблял алкоголем. Это глубоко огорчало Антона Павловича, и об этом он со всей прямотой, не

---

[3] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С.175.

[4] *Чехов М. А.* Путь актера. Л., 1928. С. 17.

[5] ** Лит. наследство. М., 1960. Т. 68. Чехов. С. 5–666.

[6] См. кн.: Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М.: Соцэкгиз, 1939; Переписка А. П. Чехова. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1. (Гл. «А. П. Чехов и Ал. П. Чехов», подгот. М. П. Громовым).

унижая старшего брата фальшью и неискренностью, не раз говорил ему. Так, вернувшись в Москву из Петербурга, где он посетил семью старшего брата, Чехов писал Александру 2 января 1889 г.: «Я прошу тебя вспоминать, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого… <…> Для тебя не секрет, что небеса одарили тебя тем, чего нету 99 из 100 человек: ты по природе бесконечно великодушен и нежен. Поэтому с тебя и спросится в 100 раз больше. К тому же еще ты университетский человек и считаешься журналистом».

Пожалуй, ни с кем не был Антон Павлович так близок, как с Александром. 9 января 1888 г. он писал В. Г. Короленко: «…около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее». Александра Павловича можно отнести к таким людям.

Когда Антон Павлович чувствовал необходимость дружеского участия и поддержки, он, человек необычайно сдержанный в изъявлении чувств, обращался именно к Александру. Свидетельство тому – письмо старшего брата от 5 сентября 1887 г., его ответ на неизвестное нам письмо Чехова (возможно, уничтоженное по его же просьбе). Из этого ответа ясно содержание письма Антона Павловича: «Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому… Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем, всею душою, ибо и я не счастливее тебя. <…> У меня ведь тоже нет друзей и делиться не с кем. <…> Теперь о будущем. Ты пишешь, что если судьба не станет милосерднее, то ты не вынесешь… <…> Я назвал бы себя подлейшим из пессимистов, если бы согласился с твоей фразой: „Молодость пропала“. Когда-то и я гласил тебе то же. Твое, а пожалуй и наше, не ушло. Стоит только улитке взять свою раковинку покрепче на бугор спины и перетащить на новый стебель»[7].

Можно с уверенностью сказать – в обширном эпистолярном наследии Чехова нет писем такой откровенности.

Александр Павлович, живя в Петербурге, был доверенным лицом Чехова в делах с книгоиздательством А. С. Суворина и редакцией «Нового времени», курировал издание чеховских сборников, содействовал подготовке Собрания сочинений Чехова в книгоиздательстве А. Ф. Маркса. И все это бескорыстно, с полной отдачей сил. Смерть Антона Павловича ошеломила его. Как писал его сын Михаил, отец «потерял своего единственного друга, которого нежно любил и перед которым преклонялся. <…> Их переписка, полная юмора, взаимной любви и глубоких мыслей, была после смерти отца и А. П. Чехова подобрана мною в хронологическом порядке. Известие о смерти А. П. Чехова не только вызвало приступ болезни отца, но и изменило его характер»[8].

Данью памяти любимого брата явились воспоминания Александра Павловича, написанные ярко, образно, талантливо. Они позволяют живо представить обстановку и людей, окружавших будущего писателя в детские годы, воссоздают характер всех членов чеховской семьи – отца Павла Егоровича, требовательного, подчас деспотического; матери – мягкой и заботливой Евгении Яковлевны; скупых на ласку и доброе слово деда и бабушку, Егора Михайловича и Ефросинью Емельяновну Чеховых. Читая мемуарные очерки Александра Павловича, мы знакомимся с посетителями лавочки Павла Егоровича, сочувствуем мальчикам Чеховым, обреченным на изнурительное сидение в этой лавке и утомительные спевки (Павел Егорович был большим ревнителем церковной службы). В воспоминаниях оживают смешные и грустные эпизоды пребывания братьев Чеховых в греческой школе и богатая впечатлениями поездка в степь, к бабушке и дедушке (эти картины и образы воскреснут позже в рассказах, повестях и первой пьесе Чехова «Безотцовщина»).

---

[7] Переписка А. П. Чехова. М., 1984. Т. 1. С. 81–83.

[8] Михаил Чехов. Лит. наследие. М., 1986. Т. 1.С. 156–157.

Здесь следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что младшие Чеховы – Мария и Михаил – находили, что Александр в своих мемуарных очерках необъективен по отношению к отцу, сгущая мрачные краски их детства. Однако ряд высказываний самого Антона Павловича и свидетельства его современников подтверждают точку зрения Александра Павловича. Об этом говорит, в частности, цитированное выше письмо Антона Павловича об отравляющих их жизнь в семье деспотизме и лжи. И. Л. Леонтьеву-Щеглову 9 марта 1892 г. Чехов писал: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио „Да исправится“ или же „Архангельский глас“, то на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». А в одном из писем к Александру (4 апреля 1893 г.) А. П. Чехов заметил: «Детство отравлено у нас ужасами…» Вл. И. Немирович-Данченко приводит слова, сказанные ему Чеховым: «Знаешь, я *никогда* не мог простить отцу, что он меня в детстве сек»[9]. А. С. Лазарев-Грузинский в неопубликованных воспоминаниях «Антон Чехов и литературная Москва 80-90-х годов» (ЦГАЛИ) утверждал, что так же, как Александр Павлович, относился к отцу и Николай Павлович: кроткий и милый человек, «он весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца».

Эту разницу в отношении старшего и младшего поколений детей можно, вероятно, объяснить тем, что тяжесть семейной обстановки особенно остро ощущалась в таганрогский период, когда Мария и Михаил были еще маленькими. В Москве же обстоятельства изменились, отец потерял былую власть, решающим стало влияние Антона Павловича. Да и Павел Егорович во многом переменился сам.

И в то же время и Александр, и Антон понимали, что отец их рожден определенной средой и его поступки продиктованы желанием сделать все, чтобы вывести сыновей в люди. Отметим, в частности, деспотичный Павел Егорович, в отличие от мягкого и доброго, любимого братьями Чеховыми дяди Митрофана Егоровича, постарался дать детям образование. Да и в воспоминаниях Александра Павловича образ отца дан неоднозначно – достаточно вспомнить, с каким сочувствием к отцу слушают мальчики Чеховы рассказ бабушки о том, сколь тяжелым было детство самого Павла Егоровича.

Первым мемуарным очерком Александра Павловича можно считать его письмо от 17 января 1886 г., где он, поздравляя брата Антона с днем рождения, отдался воспоминаниям: «Я помню <…>, – писал Александр, – что в моисеевском доме я „дружил“ с тобою. У нас был опешенный всадник „Василий“ и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для Васьки, возжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев <…>. Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему: „у кашалота голова большая?“ Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды, „дружа“ с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова.

Затем я раздружился с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел, прося: „дружи со мною!“, но я остался непреклонен и счел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен <…>. Мне было не до тебя.

Далее протекли годы. Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом Антонием, припоминаю тебя в приготовительном классе, помню, как мы оставались хозяевами отцовской лавки, когда он уезжал с матерью в Москву, и в конце концов останавливаюсь на тарсаковской лавке, где ты

[9] А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 283.

пел: „Таза, таза, здохни!“ Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно в сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал…

Потом я помню твой первый приезд в Москву <…>. Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке <…>. Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах <…>. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты с сдержанным упреком сказал мне: „Ты все еще такой же ашара (пьяница. – *Е.* С.), как и был“ <…>.

Потом… потом мои воспоминания начинают принимать уже характер нашего общего совместного жития, обмена мыслей и чувств»[10].

«Твое поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно», – ответил Антон Павлович брату 9 февраля 1886 г.

Большой интерес представляют и воспоминания Александра Павловича о пребывании в Мелихове. Все это живые черты быта, нравов, взаимоотношений и чеховской семьи, и людей той ушедшей в прошлое поры, которые делают наше представление о Чехове ярче, ближе.

Наибольшую известность в семейной летописи получили мемуары младшего брата Чехова, Михаила Павловича. М. П. Чехов – автор биографических очерков, открывавших тома чеховских писем, вышедшие в 6 книгах в 1912–1916 гг. (под редакцией М. П. Чеховой). В 1923 г. увидела свет его книга «Антон Чехов и его сюжеты», в 1924 г. – «Антон Чехов, театр, актеры и „Татьяна Репина“». И наконец, была создана и издана в 1933 г. итоговая мемуарная книга «Вокруг Чехова», охватывающая всю жизнь писателя. На ее страницах читатель встречается не только с главным героем – Антоном Павловичем, его семьей и родственниками. В поле зрения автора попадают и те, кто был «вокруг Чехова», с кем он был связан дружескими, творческими, деловыми отношениями. Здесь мы встречаем и таганрогских друзей-гимназистов, и первых издателей, и товарищей по университету, а также многих актеров, писателей, художников. Среди них и имена знаменитые (Л. Толстой, Д. Григорович, В. Короленко, П. Чайковский, И. Левитан), и те, кто представляет интерес главным образом своими связями с Чеховым (семья Киселевых и др.). Большую ценность имеют воспоминания Михаила Павловича о постановках чеховских пьес, о творческой истории ряда чеховских произведений (например, рассказа «Черный монах»), о тех жизненных впечатлениях и людях, которые преломились в воображении писателя, возродившись в его сюжетах и художественных образах.

Михаил Павлович, юрист по образованию, тяготился службой, очень рано начал печататься и затем сделался профессиональным литератором. Решающую роль в его духовном становлении сыграл Антон Павлович, которого младший брат буквально боготворил, стараясь подражать ему во всем. В свое время Михаил Павлович был довольно известным писателем – в 1907 г. он получил Пушкинскую премию Академии наук за сборник «Очерки и рассказы», произведения его выходили и в наше время – сборник «Свирель» (1976 и 1986).

Сестре писателя Марии Павловне принадлежит ряд воспоминаний, публиковавшихся в различных сборниках, периодических изданиях, очерках, открывавших путеводители по Дому-музею А. П. Чехова в Ялте. Уже на склоне лет она обобщила и пополнила их, подготовив книгу «Из далекого прошлого» (главы из нее публикуются в настоящем издании).

Семья Павла Егоровича переехала в Москву в 1876 г., когда Мария Павловна перешла в третий класс: «Первый учебный год я пропустила, – вспоминает она, – не училась, так как

[10] Переписка А. П. Чехова. М., 1984. Т. 1. С. 63–64.

не было денег платить за мое ученье в гимназии. Лишь на другой год я поступила учиться в Московское Филаретовское епархиальное училище, когда один из старых таганрогских знакомых отца, купец Сабинников, увидав бедственное положение нашей семьи, решил помочь нам и согласился платить за мое обучение»[11].

Духовное развитие Марии Павловны, как и ее младшего брата Михаила, совершалось под влиянием Антона Павловича. «В нашей семье, – пишет М. П. Чехов, – появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: „Это неправда“, „Нужно быть справедливым“, „Не надо лгать“ и так далее».

Внимательно и любовно следил Чехов за тем, как его сестра становилась на ноги, «засела за серьезную науку, стала серьезной» (после окончания епархиального училища М. П. Чехова поступила на Высшие женские курсы проф. В. И. Герье, куда за сестру платил уже сам Антон Павлович). «Она ничем не хуже теперь любой тургеневской героини… Я говорю без преувеличений», – писал Чехов Александру Павловичу зимой 1883 г.

По окончании курсов, с 1886 г. М. П. Чехова начала преподавать в гимназии географию и историю, серьезно занималась живописью, где ее руководителями были Серов, Коровин, Левитан. Но главным смыслом своей жизни М. П. Чехова считала помощь брату, создание наиболее благоприятной обстановки для его творчества, душевную поддержку и внимание.

Вл. И. Немирович-Данченко, хорошо знавший Чехова и его семью, писал: «Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д.»[12].

Воспоминания Марии Павловны охватывают почти всю жизнь Чехова, в чем-то совпадая с книгой «Вокруг Чехова» Михаила Павловича, – иначе и не могло быть: какие-то события они, младшие в семье, пережили вместе. Но о многом знала и могла рассказать лишь сестра Чехова. Она была близкой подругой Лидии Стахиевны Мизиновой, «прекрасной Лики», судьба которой, глубокое чувство к Чехову, а также ее многолетняя переписка с ним заняли большое место в жизни и отразились в творчестве Чехова. В своей книге М. П. Чехова рассказывает о том, как складывались отношения ее брата и Лики, цитирует адресованные ей письма Лики, касается и трагедии этой незаурядной и красивой девушки, отвергнутой тем, кого она любила, а затем оставленной писателем Потапенко, романом с которым она хотела заглушить душевную травму. История Лики нашла отражение в пьесе «Чайка». Известным ученым и писателем Л. П. Гроссманом в свое время была написана работа «Роман Нины Заречной», героиней которой была Лика. Переписка Антона Павловича и Лики, их отношения отражены в пьесе Л. Малюгина «Насмешливое мое счастье» и в фильме С. Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа».

Неменьший интерес читателей вызывают и отношения Чехова с писательницей Л. А. Авиловой, особенно после посвященных ей повестей И. Гофф. Воспоминания Авиловой «Чехов в моей жизни» (первоначально – «Роман моей жизни») привлекли внимание И. А. Бунина, знавшего Авилову. Бунин отнесся к ее «мемуарному роману» с полным доверием. Однако письма Чехова к Авиловой – сдержанные, спокойные, деловые – не дают никаких оснований для подтверждения этой версии, равно как и первые варианты воспоминаний самой Авиловой, опубликованные в 1910 г. Мнение Марии Павловны, знавшей Авилову, встречавшейся с ней после смерти Антона Павловича, передавшей Авиловой ее письма к Чехову (письма эти,

[11] *Чехова М. П.* Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954. С. 15.

[12] А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 283.

как и некоторые чеховские, по словам самой Лидии Алексеевны, были ею уничтожены), имеет в данном случае не последнее значение.

Наименее всего в чеховской родословной «высветлена» фигура Ивана Павловича, брата Чехова, который был всего на год моложе его. Иван после отъезда семьи из Таганрога какое-то время оставался в родном городе вместе с Антоном. Окончив пять классов таганрогской гимназии, он выдержал экзамен на звание учителя и всю жизнь посвятил работе в школе. Читая письма Антона Павловича к брату Ивану, поражаешься обилию хозяйственных поручений и просьб, которые тот аккуратнейшим образом исполнял. И где бы ни находился Чехов – на даче под Москвой, в Мелихове, в Ялте, – приезд Ивана Павловича всегда был желанен. Надежность, чувство долга перед семьей – качества, которыми в полной мере обладал Иван Павлович, – особенно ценил Чехов.

Иван Павлович не оставил подробных воспоминаний. Он рассказывает в основном об интересе Чехова к театру, пробудившемся еще в гимназические годы.

Иван Павлович – единственный из семьи – знал о свадьбе Антона Павловича и Ольги Леонардовны Книппер, но не присутствовал на брачной церемонии, выполняя желание Антона Павловича. Ольга Леонардовна писала Марии Павловне 28 мая 1901 г., через три дня после свадьбы: «Мне страшно было обидно, что не было Ивана Павловича <…> ведь Иван Павлович знал, что мы венчаемся. Антон ездил с ним к священнику»[13].

Иван Павлович был очень внимателен к больному Чехову в последний приезд его в Москву. «Иван бывает почти каждый день», – сообщала О. Л. Книппер-Чехова сестре писателя 29 мая 1904 г. У него и его жены искала вдова писателя понимания и участия, о чем она говорит в своем письме-дневнике, адресованном покойному мужу: «…сейчас приехала от брата Ивана, разволновала их своими рассказами о тебе, о твоих последних днях, почувствовала, что им было хорошо, хотя и тяжело»[14].

О. Л. Книппер-Чехова посвятила брату Чехова специальный очерк. Она писала: «Иван Павлович, с которым я была очень дружна, был замечательный педагог, народный учитель. У него и жены его, Софии Владимировны, была какая-то совсем необычная система воспитания детей, которые, сделавшись людьми, не теряли связь с Чеховыми и с любовью и благодарностью вспоминали годы, проведенные в школе Ивана Павловича»[15].

И по горькой иронии судьбы этот человек, выведший в жизнь стольких учеников, не смог уберечь единственного сына от рокового выстрела, оборвавшего его жизнь. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях «Три двоюродных брата» сын Михаила Павловича, Сергей Михайлович Чехов.

14 сентября 1898 г. Чехов был на репетиции «Царя Федора Иоанновича» в Московском Художественном театре. «Меня приятно тронула интеллигентность тона, – писал он А. С. Суворину, – и со сцены повеяло настоящим искусством… <…>. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется <…>. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». Ирину играла О. Л. Книппер. О встрече с Чеховым, о Художественном театре, соединившем их, а затем обрекшем на разлуку, рассказывает в своих воспоминаниях О. Л. Книппер-Чехова. «Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту, но все же, когда оглядываешься назад, то кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий».

---

[13] Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М., 1972.4.2. С. 22.

[14] Там же. 4.1. С. 380.

[15] Там же. С. 388.

Далее мемуарную чеховскую летопись продолжает следующее поколение Чеховых – сын Александра Павловича Михаил и дети Михаила Павловича Евгения и Сергей. В письмах Чехов постоянно интересовался своими племянниками, осведомлялся об их здоровье, давал медицинские советы. Но из них троих лишь старшему Михаилу довелось встретиться с Антоном Павловичем. В 1895 г., навестив в Петербурге старшего брата, Чехов сообщал сестре: «А сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек». Мише в то время было четыре года. В феврале – марте 1904 г. мальчик с отцом был в Ялте и встречался с Чеховым, который подарил ему «Каштанку» с надписью: «Милому моему племяннику Мише на добрую память о дяде, авторе „Каштанки“. 20 февраля 1904 г. Ялта». Книга эта сохранилась и находится в Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера в Москве. А о своих воспоминаниях об этих ялтинских днях Михаил Александрович рассказал в автобиографических очерках «Жизнь и встречи».

О том, что вообще значили для Михаила Чехова жизненный пример и творчество его великого дяди, очень точно сказала режиссер и актриса М. О. Кнебель, в свое время бравшая театральные уроки в Чеховской студии, хорошо знавшая артиста. Чрезвычайно интересны и ее соображения об особенностях «чеховского клана», давшего России и гениальных, и талантливых людей.

«Если в жизни М. А. Чехова был человек, оказавший на него первое решающее влияние, – это был Антон Павлович Чехов. История чеховского семейного клана, сложного и талантливого, чрезвычайно характерна для уклада русской жизни и культуры. В этой семье были таланты, погибавшие от алкоголя, были натуры религиозные, были мужественные и самоотверженные. Писательский дар А. П. Чехова формировался в невероятном сопротивлении тому, что сгубило талант его братьев, Николая и Александра <…>. Писатель Чехов будто указывал мальчику Мише Чехову пример того, что из всей этой сложной паутины вырваться *можно* – вырваться, чтобы жить достойной человека жизнью. Мне кажется, Михаил Чехов с годами вполне сознательно принял этот завет и этот высокий пример. Творчество А. П. Чехова он не просто любил. Это творчество повлияло на него в самых его истоках. Он впитал написанное А. П. Чеховым, как впитывают воздух семьи, дома, хотя собственный дом и детство М. А. Чехова были крайне сложными и нерадостными. Поразительно, что с годами все более проступала внутренняя связь, духовная близость Михаила Александровича Чехова и его дяди, Антона Павловича Чехова, которого давно уже не было в живых»[16].

В последнее время к личности и творчеству М. А. Чехова проявляется большой и все растущий интерес. Событием, отмеченным театральной общественностью, стал выход в свет в 1986 г. посвященных ему двух томов «Литературного наследия», что дает возможность прикоснуться к его теоретическим трудам, попытаться понять творческий мир этого замечательного мастера и причины, побудившие его покинуть родину. И здесь, конечно, прежде всего следует выслушать самого Михаила Александровича, который с редкой, пронзительной искренностью рассказал о своих исканиях, тяжелых душевных кризисах, отстаивании права на свой путь в искусстве.

М. А. Чехову посвящены и часть публикуемых в сборнике воспоминаний Е. М. Чеховой о молодости артиста, окрашенных светлыми, радостными тонами, и впервые публикуемые мемуары С. М. Чехова. Во всех этих материалах отражены важнейшие вехи его биографии: Суворинский театр в Петербурге, Московский Художественный театр, затем Первая студия Художественного театра и, наконец, МХАТ 2-й, художественным руководителем и ведущим актером которого был Чехов. Его успех в ролях Хлестакова, Гамлета, Мальволио (по Шекспиру), Аблеухова (по роману А. Белого «Петербург»), Эрика XIV (в одноименной пьесе Стриндберга) был

[16] Михаил Чехов. Лит. наследие. М., 1986. Т. 1. С. 29.

ошеломляющим. Талант Михаила Александровича признавали все, а те, кому довелось видеть его на сцене, помнили об этом всю жизнь.

Первым отметил дарование Михаила Чехова Станиславский. Прослушав в исполнении начинающего артиста монолог Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского и отрывок из «Царя Федора Иоанновича» А. К. Толстого, он сказал Вл. И. Немировичу-Данченко: «Племянник Антона Павловича Миша Чехов – гений». После этого в 1912 г. Чехов и был принят в Художественный театр.

О выдающемся таланте актера Чехова писали С. Бирман, С. Гиацинтова, А. Дикий и многие другие известные актеры. А. Д. Попов утверждал: «Своим огромным талантом Чехов широко раздвинул границы сценического реализма»[17].

Однако методы работы Чехова-режиссера, его театральная система, приверженность к классике и ее трактовка вызвали резкое неприятие А. Дикого и группы актеров (О. Пыжова и др.), упрекавших Чехова в увлечении мистицизмом, в его якобы враждебной «духу времени» деятельности. Актриса С. Бирман возражала Дикому, отвергая, в частности, его упреки Чехову в том, что он занимался с учениками «мистическими радениями»: «Мы видели в Чехове театр. Только театру учил он нас. Никто не занимался идеологической пропагандой»[18].

Особенно болезненным для Чехова оказалось расхождение с единомышленниками, теми, кто вместе с ним создавал театр, – Б. Сушкевичем и И. Берсеневым. В результате острого кризиса, может быть, даже опасаясь ареста, М. А. Чехов оказался в эмиграции. «Знаю, что не в моих силах ответить на вопрос, почему Чехов покинул родину. Думаю, что сделал он это, почувствовав себя ненужным, устранил себя – нелюбимого»[19], – писала Бирман.

На обстоятельства этой трагедии артиста в известной мере проливают свет воспоминания его двоюродного брата Сергея Михайловича. Их автор, профессиональный художник, всю жизнь был причастен к творчеству А. П. Чехова. Его работы, посвященные А. П. Чехову, экспонировались и выходили отдельными изданиями («По чеховским местам Подмосковья», «Мелихово», «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», серия портретов членов чеховской семьи и т. д.). В 1958 г. Сергей Михайлович вместе с сыном Сережей, тоже художником, к сожалению, рано ушедшим из жизни, повторил путь А. П. Чехова по Сахалину, создав серию линогравюр «Сахалин каторжный и Сахалин советский».

Сергей Михайлович известен также как неутомимый собиратель биографических и мемориальных материалов, связанных с Чеховым и его семьей. Результатом этой работы явилась тщательно составленная родословная, широко использованная при подготовке Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова в 30 томах (М.: Наука, 1974–1983, в настоящее время выходит 2-е издание). Достаточно сказать, что в этом издании имеется около 120 ссылок на материалы и свидетельства С. М. Чехова! Хорошо известны чеховедам его статьи и книга «О семье Чеховых» (Ярославль, 1970).

Все, кто знал Сергея Михайловича, могут засвидетельствовать, с какой страстной заинтересованностью, не щадя сил и здоровья, он буквально сражался, отстаивая свою позицию в вопросах мемориальности музеев, чеховской родословной, режиссерской трактовки произведений Чехова в театре и кино, с какой щедростью помогал чеховским музеям, передавая сохраненные им семейные реликвии, как охотно делился с исследователями своими знаниями.

После смерти Сергея Михайловича его ценнейший архив – за небольшими исключениями – был передан в ЦГАЛИ. К числу исключений относятся публикуемые здесь воспоминания (рукопись полностью находится у вдовы Сергея Михайловича Валентины Яковлевны Чеховой). Память Сергея Михайловича сохранила много драгоценных подробностей жизни

---

[17] *Попов А.* Воспоминания и размышления о театре. М., 1963. С. 108.

[18] *Бирман* С. Путь актрисы. М., 1962. С. 171.

[19] Там же. С. 122.

великого артиста. Мемуарист находился рядом с ним во время зенита его славы, а затем тех сложных, драматических обстоятельств, которые вызвали его отъезд из России.

Сергей Михайлович является участником описываемых событий. Любя брата, переживая вместе с ним судьбу его театра, добившись в нем успеха на поприще театрального художника, он, может быть, иногда и пристрастен в оценке лиц и событий. Но бесспорно одно – Сергей Михайлович был верным соратником Чехова-режиссера и, безусловно, разделял его позицию – необходимость обращения к подлинным художественным образцам, ради воплощения которых и работал Михаил Александрович над новой актерской техникой. «Классики, – писал М. А. Чехов, – величие которых в том и заключается, что они далеко выходили за пределы своего времени и в своем творчестве затрагивали интересы грядущих эпох, эти классики оживут и заговорят с нами на нашем языке, если мы, вместо того чтобы душить и гнать их, предоставим в их распоряжение новую технику, новое искусство, нового актера, могущего воплотить классика так, как хочет этого эпоха»[20]. О творческой близости братьев Чеховых свидетельствует их совместная работа над спектаклем «Смерть Иоанна Грозного».

Дневник Павла Егоровича кончался записью: «1898.6 февраля у Миши и Лели родилась в Ярославле дочь Евгения». Антон Павлович приветствовал невестку Ольгу Германовну, мать новорожденной, шутливым посланием: «…поздравляю Вас с прибавлением семейству и желаю, чтобы Ваша дочь была красива, умна, занимательна и в конце концов вышла замуж за хорошего человека… который от своей тещи не выскочил бы в окошко».

Шестилетнюю Женю, крестницу Чехова, и ее трехлетнего брата Сережу привезли летом 1904 г. в Ялту, где чеховскую семью настигло известие о смерти Чехова в Баденвейлере. Память девочки, почувствовавшей важность события, сохранила многие детали этих дней – и осиротевшую белую дачу, и отъезд взрослых в Москву на похороны, и их возвращение, и скорбную фигуру Ольги Леонардовны в кресле в кабинете писателя…

Евгения Михайловна Чехова говорила, что ее отец создавал биографию Чехова у нее на глазах: в ответ на просьбы детей Михаил Павлович рассказывал им о своих дедушке и бабушке, о жизни в Таганроге, затем – о Москве и Мелихове.

Так же родились и мемуары самой Евгении Михайловны: она охотно отвечала на вопросы, щедро делясь воспоминаниями о дорогих ей и близких Чехову людях – о любимой тетке «Маше, Машеньке, Графине», Александре Павловиче и его сыне Мише, о своем отце…

К жанру воспоминаний Евгения Михайловна обратилась уже в зрелом, если не сказать преклонном возрасте. Всю свою жизнь она посвятила музыке, работая в Московской консерватории певицей-иллюстратором концертмейстерского класса. После открытия в 1954 г. Дома-музея А. П. Чехова в Москве она активно включилась в его работу, организуя музыкальные вечера. Неразрывно связана ее судьба с другим Домом-музеем Чехова – в Ялте – и с Музеем-заповедником в Мелихове, которым она всегда была готова прийти на помощь.

С 70-х годов квартира Евгении Михайловны на Пятницкой становится своеобразным центром, где собираются писатели, литературоведы, «музейщики», артисты и режиссеры – все, кто причастен к Чехову, занимается им, любит его. Здесь можно было встретить О. Н. Ефремова, А. П. Зуеву, А. А. Попова, М. И. Прудкина, И. М. Смоктуновского, Е. А. Хромову, С. Г. Десницкого, И. С. Козловского, чеховедов – З. С. Паперного, Э. А. Полоцкую, Т. К. Шах-Азизову, музыкантов – М. В. Водовозову, А. А. Егорова, К. А. Юганову, музейных сотрудников – Ю. К. Авдеева с женой Любовью Яковлевной, Г. Ф. Щеболеву, Г. А. Шалюгина, А. В. Ханило.

Удивительную атмосферу непринужденности, свободы и веселья умела создавать чеховская крестница. Она тщательно готовилась к каждому своему вечеру. И каждого ждал подарок. Обычно это были сделанные ею шляпки из разноцветной бумаги. И когда, например, Иван

[20] Михаил Чехов. Лит. наследие. М., 1986. Т. 1. С. 145.

Семенович Козловский надевал смешной цилиндрик, – он совершенно преображался. Розыгрыши, шутки, неожиданные «номера» следовали один за другим. Весело встречался каждый подарок шуточной беспроигрышной лотереи. Так, например, А. А. Попов однажды выиграл веник и гордо пошел с ним на репетицию в Художественный театр. И, конечно, невозможно забыть, как на именины, в сочельник, хозяйка дома в свои 80 лет встречала гостей в наряде Снегурочки. И все это легко, естественно, с юмором. Создавалось впечатление, что Евгения Михайловна несла в себе один из чеховских «генов» – по ассоциации вспоминались рассказы современников Чехова о веселой атмосфере в чеховском доме на Кудринской или в Мелихове.

Много интересного узнавали гости и посетители квартиры на Пятницкой о Чехове, его семье. Иногда это был рассказ об отце, которого Евгения Михайловна боготворила, или о «тете Лике», которую она хорошо помнила, а то хозяйка доставала подаренные ей Марией Павловной письма Миши Чехова, в те времена еще начинающего актера, – и все весело смеялись, соприкасаясь с непринужденной, веселой чеховской атмосферой, отраженной в письмах племянника и тетушки.

Однажды Евгения Михайловна показала нам прекрасно изданную книгу Ольги Чеховой «Мои часы идут по-другому» на немецком языке и рассказала удивительную историю, вернее, то, что ей было известно о судьбе этой, можно смело сказать, легендарной женщины. Но здесь лучше обратиться к самим воспоминаниям Евгении Михайловны, опубликованным в сборнике.

Когда вторично в 1984 г. в Москву приехала внучка Ольги Константиновны и Михаила Александровича, Вера Чехова, немецкая актриса, Евгения Михайловна пригласила ее в гости. Вера пришла с мужем, режиссером В. Гловной, и со съемочной группой – фирмой ФРГ снимался фильм в Чехове.

И вот они сидят рядом – Евгения Михайловна, уже тяжело больная, с трудом передвигающаяся (ей оставалось жить менее двух месяцев), и изящная, выглядевшая совсем юной Вера, почти не говорящая по-русски.

Однако через несколько минут в квартире на Пятницкой за накрытым столом («должно быть все, как принято у Чеховых, обязательно – пирог с капустой») воцарилась непринужденная, истинно чеховская атмосфера, назывались имена «дяди Антона», Миши Чехова, Ольги Леонардовны. И вопросы, вопросы… Участники беседы даже не чувствовали, что идет съемка. Эта была живая связь поколений, атмосфера того единения, которое рождает имя «Чехов».

Сто шестьдесят лет охватывает чеховская летопись, с которой познакомится читатель настоящего сборника, – от 1825 г., когда в семье крепостного Егора Чехова родился сын Павел, и до середины 80-х годов нашего века. История чеховской семьи, по живым свидетельствам тех, кто принадлежал к ней, важна, конечно, прежде всего для более полного понимания личности и творчества А. П. Чехова. Но эта мемуарная родословная представляет также несомненный интерес и как часть истории России, богатой талантами, осуществлявшими свое назначение, несмотря на препятствия, стоящие на их дороге. А кроме того, судьба всех Чеховых – авторов этой книги, их победы и поражения дают богатую пищу для размышлений о важности для каждого человека самовоспитания характера и воли, стойкости в преодолении трудностей, верности в следовании по избранному пути, уважения к людям и к своему назначению.

Е. М. Сахарова

Жизнь Павла Чехова

Царствование Николая I.

1825 Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых.

1830 Помню, что мать моя пришла из Киева, и я ее увидал.

1831 Помню сильную холеру, давали деготь пить.

1832 Учился грамоте в с. школе, преподавали по А. Б. по-граждански.

1833 Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору.

1834 Учился пению у дьячка Остапа.

1835 Ходил в церковь и пел на клиросе.

1836 Родился брат Митрофан.

1837 Приехал регент дьякон, жил у нас и учил меня на скрипке.

1838 В певчевском хоре я пел 1-м дискантом.

1839 Учился закону божию у свящ. о. Константина Устиновского.

1840 Учился на сахарном заводе у арендатора Гирша сахароварению.

1841 Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. ас. по 700 р. за душу.

1842 Гирш отправил меня с быками в Москву для продажи.

1843 Выехали совсем из родины в Зайцовку к дедушке Шимке.

1844 Из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля к купцу Кобылину.

1845 Начал там заниматься торговлею по конторской части.

1854 Вступил в брак с девицею Е. Я. Морозовою 29 октября.

1855 Родился у нас сын Александр 10 августа.

1856 Царствование Александра II.

1857 Открыл самостоятельно торговлю в Таганроге (3-й гильдии).

1858 Родился у нас сын Николай 9 мая.

1859 Открыл торговлю по 2-й гильдии купеческого свидетельства.

1860 По выбору целого городского общества утвержден ратманом таганрогской полиции 2 генваря градоначальником. Родился у нас сын Антоний 17 генваря

1861 Квартировали в доме Евтушевского, в котором родился у нас сын Иоанн 18 апреля.

1862 Торговля производилась на Петровской площади против собора.

1863 Родилась у нас дочь Мария 31 июля.

1864 Торговлю производил на Петровской улице в д. Третьякова.

1865 Родился у нас сын Михаил 6 октября.

1866 По выбору купеческого общества утвержден градоначальником в члены торговой депутации с 11 февраля.

1869 Родилась дочь Евгения 12 октября, а скончалась в сентябре 1871 г.

Торговля производилась в доме Моисеева.

1870 По определению городской думы составлен формулярный список 12 ноября.

1871 Государь император в 17-м декабря соизволил пожаловать серебряную медаль для ношения на Станиславской ленте на шее за усердную службу.

1872 Ездили с Е. Я. в Москву на политехническую выставку, а оттуда в Шую Вл. губ. к Закорюкиным. Были в Калуге, виделись с семейством брата Михаила Георгиевича Чехова.

1875 Александр, сын, окончивший курс в Таганрогской клас. гимназии с серебряной медалью, отправился с братом Николаем, гимназистом V кл., в Москву 10 августа. Александр поступил в университет, а Николай в школу художественной живописи и ваяния.

1876 Окончательно я оставил собственную торговлю и Таганрог, выехал в Москву 23 апреля.

В этом же году приехали в Москву Евгения Яковлевна и дети Маша и Миша 25 июля.

1877 Ваня, сын, приехал окончательно из Таганрогской гимназии.

1878 Антоша остался в Таганрогской гимназии оканчивать учение. Мамаша скончалась 26 февраля в Княжей.

Родитель мой, Георгий Михайлович Чехов, приехал в Москву 26 августа для свидания с нами последний раз.

1877 В Москве я жил без всякого занятия 10 месяцев. К строителю Троицкого подворья на Ильинке поступил с 18 февраля для отчета громадного дома.

К московскому купцу И. Е. Гаврилову приглашен в конторщики по торговле 10 ноября с окладом жалованья.

1879 Антоша по окончании курса в Таганрогской гимназии приехал в Москву 8 августа для поступления в университет. По возвращении из Москвы и Калуги Георгий Михайлович, родоначальник наш, умер 12 марта в слободе Твердохлебовое Бог. уез.

1881 Кончина Александра II, царствование Александра III.

1889 Скончался сын наш Николай 17 июня, погребен в г. Сумах Харьк. губ.

1890 Антоша поехал на Сахалин в апреле, вернулся благополучно в декабре.

1891 Сего года 28 апреля прекращены мои занятия и служебные дела по торговле у почетного потом, граж. И. Е. Гаврилова.

1892 Куплено имение Антоном при с. Мелихове 1 марта, вся семья наша переехала из Москвы в деревню жить. Второй раз я ездил в С.-Петербург в октябре.

1893 9 июля Ваня с Софьей Влад, венчался в Мелихове.

1894 Начало царствования Николая II.

1896 Антоша сделал училище в Талеже, колокольню в Мелихове.

1897 Была всенародная России перепись. Неурожайный год. Антоша сделал училище в Новоселках. 1 сентября Антоша поехал за границу. Ваня получил большую медаль на шею на Станиславской ленте.

1898 6 февраля у Миши и Лели родилась дочь Евгения в Ярославле. К Пасхе Миша получил орден.

Н. П. Чехов. < Детство >

I

Я помню себя с того времени, когда я жил в маленьком одноэтажном домике с красной деревянной крышей, домике, украшенном репейниками, крапивою, куриной слепотой и вообще такою массою приятных цветов, которая делала большую честь серому палисаднику, обнимавшему эти милые создания со всех сторон. Нет ничего легче, как пробраться в этот трехоконный домик: стоит только перелизнуть через забор, и готово, брать в руки щеколду. Если кто-либо, движимый рычагом цивилизации, захотел проникнуть во двор, минуя указанный выше способ доставки своей особы через забор, то должен был сначала обеими руками взяться за кольцо калитки и, понатужившись, стараться повернуть его вправо, затем, видя, что кольцо не поддается даже после чрезмерных усилий, цивилизованному человеку нужно отереть пот, посмотреть на забор, ворота, на палисадник с его милыми цветами, окрашенными лунным светом, посмотреть на луну и опять приняться за трудную работу.

Ни улица, поросшая какими-то небывалыми, но прекрасными кустиками, которых так любовно ласкает луна, ни воздух, в котором чувствуется вся поэзия южной ночи, ни абсолютнейшая тишина, ничто, ничто в мире не привлечет внимания цивилизованного человека, он занят, он, все еще пыхтя, борется с кольцом. Бывали нередко случаи, когда подобная операция имела счастливый успех, и счастливец был поощряем. Ужаснейший выстрел свидетельствовал, что калитка была отворена, это может подтвердить даже та стая псов, которая с громким лаем обыкновенно несется к месту катастрофы. Счастливец закрывает калитку с приятной улыбкой и любовно смотрит через палисадник на открытые пасти псов, с большой энергией грызущих частокол, и их дикое рычанье производит на него отрадное впечатление, в нем он слышит хвалебную песню его особе за его… Но не в том дело. В этом домике пять комнат и затем три ступеньки вниз ведут через кухню к тому святилищу, где возлежат великие мужи, хотя самый старый из них немножко перешагнул аршин. Комната, в которой почивают еще великие мужи, очень просторна; она разрослась в вышину на три аршина и в ширину на пять. Она выбелена и раскрашена под мрамор. Злые языки утверждают, что она только выбелена, что же касается до раскраски, то это, как говорят они, не что иное, как «последствия совершенного насилия над слабым индивидуумом и к тому же впоследствии убитым». Но я не согласен с их мнением, есть очень много мраморных стен, но неужели каждая носит на себе печать убийства… какие пустяки!..

Хотя я и не стою за это мнение, но тем не менее его и не отрицаю.

Гаснущая лампадка указывает на иконы какого-то неопределенного цвета, между тем умирающий луч ее скользит по лицам и одеялу спящих, обрисовывая четыре рядом лежащие фигуры малолетних юнцов. Лампадка со скрипом тухнет, и комната погружается во мрак. Из кухни слышится храп, и кажется, что этим аппетитным храпом просопел весь город. На улицах темно, пусто, дико; луна не знает, за какое облачко ей спрятаться, потому что не нашла в городе ни одного поэта, хотя бы помещающего свои талантливые произведения в почтовом ящике. Наконец, самолюбие луны берет верх, она прячется и уж больше не показывается. Где-то крикнувший петух захлопал крыльями, где-то зевнула собака, и все смолкло. Это таганрогская ночь.

II

Назойливый луч солнца прошел сквозь ставни и разбудил меня. Прищурившись, я посмотрел на него и повернулся в сторону. (Он) осветил по очереди всю спящую компанию и, играя на лице каждого, как бы думал, вызовет ли эта игра эффект или нет.

Все в комнате было мертво, всюду раздавалось тонкое сопенье, покрываемое толстым храпом из кухни, но была и жизнь. Жил один только дымчатый луч солнца, нечаянно пробравшийся сквозь щель ставни и замерший на первой попавшейся ему фигуре, принадлежащей Ивану. Он поласкал ее, обнюхал, но Иван счел за нужное перевернуться на другой бок, чем, должно быть, очень оскорбил достоинство луча, так как сейчас же последний остановился на давно уже бодрствующей фигуре Антона. В то самое время, когда луч осветил его нос, Антон, обхватив колена руками, глубокомысленно рассуждал, что больше, кит или кашалот, но тот же луч, сев ему на правый глаз, помешал его мозгам привести свои мысли к какому-либо положительному результату. Все знания эквилибристики были пущены в ход: ослепленный Антон заболтал руками и ногами зараз, точно хотел сказать: «А ведь мы еще не умерли, мы спим»; и если и не прикрыл свои глаза ладонью вроде козырька, то только потому, что был слишком увлечен своим занятием гимнастикой. По-видимому, он обиделся за прерванную цепь его научных рассуждений. Я не знаю, хотел ли он свои соображения подвести под научную категорию, но, насколько помнится, ни одна академия наук не признала его своим членом. Обиженный луч делает свое дело: он идет дальше и освещает мою особу, которая трудится над разрешением важного вопроса: из чего делается смычок для скрипки. Утомив свой мозг над решением трудной задачи, я вдавался в область астрономии. Желая изощрить свое зрение, я пристально вглядывался в луч, как бы желая отыскать в нем законы физического спектра, но – увы! Я пал жертвою науки: я сделался косым. Надоедливый луч расхаживал и по лицу Александра; сначала Александр отмахивался от него, как от мух, затем проговорил что-то вроде «меня сечь, за что?», потянулся и сел. Три старших брата сидели рядом в одной и той же позе и глубокомысленно молчали. Кинув в сторону философские рассуждения, Антон вытащил из-под подушки какую-то деревянную фигурку, которая, по его мнению, должна была олицетворять некоего мифического «Ваську». Взяв деревяшку за то место, где, по его мнению, должна быть голова, он начал проделывать с ним самые уморительные штуки: сначала «Васька» прыгал у него на коленях; затем вместе с Антоном он пополз по мраморной стене. Я и Александр смотрели с большим наслаждением на все похождения «Васьки» до тех пор, пока Антон, оглянувшись, не спрятал его самым быстрым образом обратно под подушку. Дело в том, что проснулся Иван. «Где моя палочка, отдайте мою палочку», – запищал он и далее поднял такой страшный рев, на который сбежалась прислуга и встревоженная мать. В то самое время, когда мать утешала Ивана, умоляла нас, ребятишек, отдать ему палочку, Иван переставал реветь и с большей энергией нюхал воздух, чувствуя себя кровно обиженным. Антон, желая удостовериться, нет ли под подушкой палочки, прятал под нее как можно дальше своего «Ваську».

Уже давно три старших брата бегают на дворе по крыше погреба, а крик в комнате все еще продолжается. Одному из них у погреба удалось найти знаменитую палочку, и сразу все трое с громким криком, царапаясь и невозможно подставляя синяки друг другу, принялись оспаривать право на владение палочкой. Неистовый шум от погреба перешел к тому окну, в котором показалась фигура капризнейшего из смертных. С ловкостью пантеры он перескочил за окно, подбежал к воюющей компании, зажмурил глаза, открыл рот и принялся с большою ловкостью наносить удары направо и налево. В конце концов он остался победителем и, завладев трофеем, самодовольно удалился в комнаты, с наслаждением шморгая носом.

У меня до сих пор живет еще в памяти «моя палочка». Дело в том, что 23 года назад брат моей матери Иван Яковлевич от нечего делать нашел камышинку, из которой он состря-

пал нечто вроде палки для людей в пол-аршина ростом, верхушку которой он ухитрился так загнуть, что любой кузнец, загибая подковы, позавидовал бы искусству дяди Вани. Дядя был, как говорится, молодцом на все руки. Он торговал в Таганроге в рядах на новом базаре бакалейным товаром, но так как покупатели его мало жаловали, то он свободное время посвящал великому искусству. Плодом его творчества было изображение атаки какой-то мифической крепости, нарисованное на громадном листе бумаги в добрую простыню. Это художественное произведение вместо ширмы отделяло магазин от той каморки, в которой он по природной доброте угощал всякого встречного чаем. Когда занятие искусством его утомляло, то он обращался к своему столу с мраморной доской и делал на нем превкусные конфеты или же клеил из картона какую-либо церковь весьма затейливого характера. Иногда он забегал и к нам только разве для того, чтобы сказать моей матери: «Ну, Евочка, не умереть твоему Сашке своею смертию, он непременно подавится». Это было в тот период детства старшего из нас, Александра, когда он жил у сестры матери, Федосьи Яковлевны, которая, горячо любя племянника, сильно его баловала. Любовно смотрела на Александра и бабушка, уже четыре года разбитая параличом, лежавшая в той самой комнате, где сидел на полу Александр, уписывая разложенные перед его особой лакомства.

Помнится мне, один раз мать была сильно перепугана. Влетает к ней Федосья Яковлевна и со слезами, едва переводя дух, заявляет матери, что «Сашечка подавился». Через пять минут мать была на месте происшествия и застала Александра ревущим во все лопатки и держащим что-то во рту, за левой щекой. Около него суетилась прислуга, всхлипывала, хлопая ладонями, тетка, и даже бабушка перестала улыбаться. Мать посмотрела пристально на Александра, топнула ногой и закричала: «Что у тебя во рту? Вынь сейчас же, подлый мальчишка!» Невозможно описать изумления и радости присутствующих, когда Александр, перестав реветь, открыл рот и вынул оттуда большой волошский орех.

Мы редко видели рыженькую бородку дяди Вани, он не любил бывать у нас, так как не любил моего отца, который отсутствие торговли у дяди объяснял его неумением вести дела. «Если бы высечь Ивана Яковлевича, – не раз говорил мой отец, – то он знал бы, как поставить свои дела». Дядя Ваня женился по любви, но был несчастлив. Он жил в семье своей жены и тут тоже слышал проклятое «высечь». Вместо того чтобы поддержать человека, все придумывали для него угрозы одна другой нелепей, чем окончательно сбили его с толку и расстроили его здоровье. Тот семейный очаг, о котором он мечтал, для него более не существовал. Иногда, не желая натолкнуться на незаслуженные упреки, он, заперев лавку, не входил в свою комнату, а оставался ночевать под забором своей квартиры в росе, желая забыться от надоедливого «высечь», «высечь».

Помнится мне, раз как-то он забежал к тетке и попросил уксусу растереться и, когда она спросила его о чем-то, со слезами на глазах, дядя махнул рукой и быстро выбе…

Ал. П. Чехов. В греческой школе

После смерти Антона Павловича Чехова о нем возникла целая литература, отнесшаяся в высшей степени сочувственно к его памяти. Покойный писатель был охарактеризован со многих сторон – и как человек, и как автор, и как мыслитель-идеалист, и даже как quasi-пессимист. Были также попытки дать материал для его биографии. Но это был лишь отрывочный, случайный материал – эпизоды, выхваченные из жизни писателя и переданные частью правдиво, частью же в искаженном виде. Стройного целого по этим отрывкам составить нельзя. Биография Антона Павловича – дело будущего, да, пожалуй, – и не особенно близкого.

О детстве покойного А. П. Чехова, о его первоначальном воспитании и о первых школьных шагах не написано пока еще ни одной строки. Правда, когда телеграф принес из Баденвейлера известие о его ранней кончине и когда искренно горевала об ушедшем крупном таланте вся интеллигентная и мыслящая Россия, редакции некоторых южных газет самым добросовестным образом собрали от проживающих в Таганроге родственников покойного – преимущественно от дальней тетки Антона Павловича, Марфы Ивановны Морозовой, – немало сведений о его детских годах. Но эти сведения односторонни и не всегда точны. Оно и понятно. М. И. Морозова теперь – уже преклонных лет: многое уже испарилось из ее памяти, а многое и перемешалось. О первых же собственно школьных годах Антона Павловича никто не мог ничего рассказать репортерам ростовских и таганрогских газет. Эти сведения можно было почерпнуть только в тесной семье его ближайших родственников. Но семье, подавленной горем, было не до того. Да к ней, к слову сказать, мало кто и обращался. Представители журнального и газетного мира были – за немногими исключениями – очень деликатны, щадили чужое горе и не приставали с расспросами.

Ближе всех жизнь покойного писателя знали его братья. Но ни один из них, под давлением семейного горя, вызванного тяжелою утратой, долго не мог взяться за перо, и только сравнительно недавно Мих. П. Чехов напечатал в «Журнале для всех» обстоятельную и правдивую страничку из жизни Антона Павловича – юноши[1]. Период же первого и самого раннего школьного возраста составляет пробел.

Теперь, когда жгучая боль улеглась и когда воспоминание об утрате волнует уже не так сильно, я позволю себе скромную попытку пополнить пробел и набросать по воспоминаниям несколько страниц из ранней школьной жизни Антона Павловича. Я уверен, что эти страницы известны только одному мне как самому старшему члену в семье и как ученику той самой греческой школы, о которой сейчас пойдет не лишенная – как мне думается – некоторого бытового интереса речь.

I

Антон Павлович, как известно, родился в Таганроге и там же получил свое первоначальное и гимназическое образование. Он до самой своей смерти относился к этому городу, как к родному, заботился о его публичной библиотеке и вел оживленную переписку с его видными представителями.

Павла Егоровича и Евгению Яковлевну Чеховых – родителей покойного писателя – Бог благословил многочисленной семьей – у них было пятеро сыновей и одна дочь. Антон Павлович был третьим сыном. Павел Егорович был таганрогским купцом второй гильдии, торговал бакалейным товаром, пользовался общим уважением и нес на себе общественные – почетные, а потому и бесплатные – должности ратмана полиции, а впоследствии – члена торговой депутации. Слыл он среди сограждан за человека состоятельного, но на самом деле едва сво-

дил концы с концами. Таганрог, некогда цветущий в торговом отношении город, понемногу падал. Падала вместе с этим и торговля Павла Егоровича. Жизнь с каждым годом становилась дороже, а семья – все прибавлялась и разрасталась. Все это незаметно, но упорно подтачивало материальное положение семьи Чеховых и в конце концов привело к краху, который заметным образом отразился и на дальнейшей жизни писателя. Но об этом речь впереди.

Для того же, чтобы читателю был ясен дальнейший рассказ, необходимо дать хоть некоторое понятие о том, чем был Таганрог в то время, когда Антон Павлович достиг школьного возраста.

Это был город, представлявший собою странную смесь патриархальности с европейской культурою и внешним лоском. Добрую половину его населения составляли иностранцы – греки, итальянцы, немцы и отчасти англичане. Греки преобладали. Расположенный на берегу Азовского моря и обладавший мало-мальски сносною, хотя и мелководною гаванью, построенной еще князем Воронцовым, город считался портовым и в те, не особенно требовательные, времена оправдывал это название. Обширные южные степи тогда еще не были так распаханы и истощены, как теперь; ежегодно миллионы пудов зернового хлеба, преимущественно пшеницы, уходили за границу через один только таганрогский порт. Нынешних конкурентов его – портов ростовского, мариупольского, ейского и бердянского – тогда еще не было.

Большие иностранные пароходы и парусные суда останавливались в пятидесяти верстах от гавани, на так называемом рейде, и производили выгрузку и нагрузку с помощью мелких каботажных судов. Каботажем занимались по преимуществу местные греки и более или менее состоятельные мещане из русских. Огромный же контингент недостаточного русского населения, так называемые «дрягили» (испорченное немецкое «Träger»), снискивали себе пропитание перевозкою хлеба из амбаров в гавани и нагрузкою его в трюмы судов. Народ этот находился в полной материальной зависимости от богатых негоциантов – греков, и зависимость эта нередко переходила в самую откровенную и ничем не прикрываемую кабалу. В кабале же состояли и владельцы мелких каботажных судов – они же и шкипера этих судов.

Аристократию тогдашнего Таганрога изображали собою крупные торговцы хлебом и иностранными привозными товарами – греки: печальной памяти Вальяно, Скараманга, Кондоянаки, Мусури, Сфаелло и еще несколько иностранных фирм, явившихся Бог весть откуда и сумевших забрать в свои руки всю торговлю юга России. Все это были миллионеры и притом почти все более или менее темного происхождения, малограмотные и далеко не чистые на руку. Архимиллионер Вальяно держал в полной экономической от себя зависимости не только торговое и мореходное население Таганрога, но и множество окрестных помещиков-хлеборобов. Его огромные богатства не помешали ему, однако же, стать во главе контрабандистов и сделаться первым персонажем в памятном еще и до сих пор громком процессе хищений в таганрогской таможне. Этот процесс, наделавший в свое время столько шума, прочно установил, что такие финансовые тузы, как Вальяно, Мусури и tutti guanti, не стыдились с помощью тогдашней таможни обворовывать в течение ряда лет русскую казну на сотни тысяч рублей ежегодно. Наличность миллионов в кармане, крупная торговля с Европою и мелкие сделки с совестью шли у этих господ рука об руку и друг другу не мешали. Таможенные чиновники пошли в ссылку, а виноватые негоцианты переменили лишь вывески фирм и продолжали торговать и блаженствовать.

Зато внешнего, мишурного лоска было много. В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негоцианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадонн буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра,

и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукулловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры.

В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весною и осенью на них стояла глубокая, невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух главных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями. По субботам по городу ходил с большим веником на плече, наподобие солдатского ружья, банщик и выкрикивал: «В баню! В баню! В торговую баню!» Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. Они же всенародно и варварски уничтожали на базаре бродячих собак с помощью дубин и крюков. Лошади пожарной команды неустанно возили «воду и воеводу», а пожарные бочки рассыхались и разваливались от недостатка влаги. Иностранные негоцианты выставляли на вид свое богатство и роскошь, а прочее население с трудом перебивалось, как говорится, с хлеба на квас.

Такова была физиономия тогдашнего Таганрога.

Помимо крупных негоциантов и закабаленных ими полуголодных пролетариев, существовал еще класс обывателей. Это были так называемые «маклера», тоже большею частью иностранцы. Эти господа имели свои «конторы», скупали мелкими партиями привозимый из деревень чумаками на волах хлеб, ссыпали его в амбары и затем перепродавали Вальяно или другим тузам, составлявшим крупные партии уже для отправки за границу. У этих тузов также были свои конторы. В них совершались торговые сделки и велась обширная коммерческая переписка с иностранными европейскими фирмами. У Вальяно, который до конца дней своих не научился ни читать, ни писать и умер в буквальном смысле слова неграмотным, служил в конторе целый штат клерков, бухгалтеров и разных делопроизводителей. Штат этот получал довольно солидное содержание – и попасть клерком в контору к Вальяно или к Кондоянаки, к Скараманга или к кому-нибудь из этих финансовых дельцов значило составить себе карьеру.

Об этих местах в греческих конторах мечтали как о манне небесной подраставшие юноши; о том же мечтали и отцы, поднимавшие на ноги своих чад. Но для того чтобы явиться достойным кандидатом на эту манну, нужно было знать иностранные языки, и главным образом греческий – не древний, изучаемый в гимназиях, а новейший, на котором говорят, читают, пишут и издают газеты нынешние измельчавшие потомки великих Софоклов, Демосфенов, Сократов и Платонов.

Павел Егорович – отец Антона Павловича – тоже мечтал о подобной карьере для своих сыновей. В то время оклад жалованья в тысячу или в полторы тысячи рублей в год считался не только достаточным, но и богатым. А греческие конторы выплачивали такие оклады без труда, лишь бы служащий был человеком подходящим, расторопным, сметливым и знал свое дело.

– Ну, что вот я, – говаривал нередко Павел Егорович Евгении Яковлевне, – с утра до ночи сижу в своей лавке, торгую, а каждый год при подсчете оказываются одни убытки… То ли дело служить у Вальяно или у Скараманги… Сидит человек в тепле, спокойно за конторкой, пишет и щелкает на счетах и без хлопот получает чистоганом тысячу рублей в год. Надо будет отдать детей в греческую школу…

– Не лучше ли в гимназию? – возражала Евгения Яковлевна.

– Бог с нею, с гимназией!.. Что она дает? Вон у Ефремова сын вышел из пятого класса и латынь учил, – а что в нем толку? Сидит у отца на шее, ходит без дела по городу да пожарного козла дразнит…

В Таганроге в то время существовали мужская и женская гимназии, уездное училище и та самая греческая школа, о которой идет речь.

II

Греки имеют в Таганроге свою греческую церковь, стоящую на Греческой улице. Церковь эта – довольно изящной архитектуры – построена почти на самом краю высокого обрыва, спускающегося круто к морю. Принадлежит она исключительно одним только грекам, и богослужение в ней совершается на одном только греческом языке. Храм этот очень богат. Почти все иконы и лампады увешаны серебряными и золотыми корабликами – приношениями шкиперов, обращавшихся во время бури к заступничеству угодников и спасшихся от нея. В этой церкви воспринимается от купели, венчается, говеет и отпевается испокон века вся местная греческая аристократия. (У итальянцев есть свой костел, а у немцев – кирка.)

Посвящен храм – как и следует быть – святым, особенно чтимым в самой Греции. Главный престол – во имя св. царя Константина и матери его Елены – и два боковые придела – во имя св. Герасима и Спиридона, которые у греков так же чтимы, как у нас Николай Угодник и Илья Пророк. Церкви принадлежит большой участок земли; на нем построены дома для церковного причта и посередине между ними – большое одноэтажное здание греческой школы, которая тогда называлась официально: «Приходская при Царекон-стантиновской церкви школа».

Содержалась она на доброхотные пожертвования богатых греков-меценатов. Тратя ежегодно несколько десятков тысяч на итальянскую оперу и на симфонический оркестр, они милостиво уделяли около тысячи рублей на школу. Обучались в ней главным образом дети шкиперов, дрягилей, матросов, мелких маклеров, греков-ремесленников и вообще лиц низшего ранга. Негоцианты-меценаты и мало-мальски достаточные купцы детей своих сюда не отдавали и к самой школе относились брезгливо. И, пожалуй, не без основания: ученики представляли собою «смесь одежд и лиц». Один, по бедности родителей, являлся в класс без всякой обуви, босиком, другой – в изорванной и вымазанной Бог весть чем рубахе, третий – со следами уличной битвы, и только очень немногие были одеты более или менее прилично. В большинстве случаев это были «уличные мальчишки», изощрившиеся в кулачных боях и всякого рода подвигах и шалостях, свойственных детям, оставляемым без призора. Любимым занятием большинства было шататься по гавани среди выгружаемых иностранных товаров и воровать из ящиков, бочонков, кулей и мешков рожки, орехи, винные ягоды, апельсины и лимоны. За это им, что называется, «влетало» от дрягилей и хозяев товара, и многие из них являлись в школу с выдернутыми вихрами, распухшими от пощечин физиономиями, сильно надранными ушами, а иногда и со следами той экзекуции, которая мешает наказанному сидеть.

Школа состояла из пяти классов. Кроме того, был еще и шестой – нечто вроде приготовительного: в нем малыши начинали с греческой азбуки. В первом классе ученики учились читать и писать, а в пятом изучали греческий синтаксис и историю Греции. Это была высшая премудрость, дальше которой учение не шло. В младших классах обучались мальчуганы, начиная от шести лет, а в самом старшем – пятом – заседали на партах молодцы лет девятнадцати и двадцати, очень мало помышлявшие о школьной премудрости.

Судя по этому короткому описанию, о греческой школе можно составить себе представление как о заведении обширном и с довольно широкой программой преподавания. Но это было бы ошибкой. Все шесть классов помещались в одной комнате, и во всех них занимался только один учитель – кефалонец Николай Спиридонович Вучина, или – как он сам называл себя – Николаос Вутсинас.

– Как же это, – спросят нас, – шесть классов в одной комнате? И как мог учитель одновременно исполнять свои педагогические обязанности в нескольких классах? Не разрывался же он на части?!

Дело объясняется просто. В большой комнате стояли пять рядов длинных, черных, грязных и изрезанных ножами школьников парт. В начале каждого ряда этих парт возвышался черный шест, и наверху его – черная же табличка с римскою цифрою от I до V. Это и были классы. В каждом классе велось свое отдельное преподавание. Но если по каким-либо обстоятельствам в каком-либо классе становилось тесно, то учитель, не задумываясь и не соображаясь с познаниями, переводил учеников в другие классы, где места было больше. Справлялся же Вучина со своим трудным преподавательским делом очень легко: он почти ничего не делал и только дрался и изобретал для учеников наказания. В этом и заключалось все преподавание. В настоящее время существование подобного учебного заведения было бы немыслимо, а тогда оно было не только возможно, но даже и в порядке вещей. Шкипера и дрягили отдавали своих детей в эту школу не столько для обогащения ума книжной наукой, сколько для того, чтобы они не баловались и не мешали дома. Одни только наивные люди и меценаты могли верить в то, что в этой школе ребенок мог чему-нибудь научиться.

К числу таких наивных людей принадлежал и Павел Егорович. Не зная ни языка, ни программы школы, ни ее порядков, ни внутренней ее уродливой жизни, он в простоте душевной верил, что если его сын научится греческому языку да еще вызубрит какой-то таинственный греческий синтаксис, то дорога этому сыну в заманчивую контору Вальяно или Кондоянаки, как в Обетованную землю, будет открыта наверняка и настежь.

Бакалейная лавка Павла Егоровича с вывескою «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары», как и большинство лавок в провинции, представляла собою в одно и то же время и торговое заведение, и клуб. Сюда, кроме покупателей, каждый день приходили и просиживали по нескольку часов безо всякого дела скучавшие и шатавшиеся без определенных занятий обыватели. Это были мелкие маклера по хлебной части, давно обжившиеся в Таганроге и довольно сносно, хотя и не без акцента говорившие по-русски греки. Субъекты эти, весьма необразованные, очень недалекие, явившиеся в Россию – как они сами выражались – «без панталониа» и женившиеся на русских мещаночках из-за грошового приданого, были влюблены в свою давно уже покинутую Грецию и лучше ее не находили в мире ни одной страны. К слову сказать, Антон Павлович в своей пьесе «Свадьба» вывел под именем грека Дымбы один из этих типов, искренне убежденных в том, что «в Греции все есть». Эти-то лавочные завсегдатаи и убедили Павла Егоровича в том, что выше и благороднее греческого языка нет ничего и что в Афинах есть такое высшее учебное заведение – «то панэпистимион», т. е. университет, из которого выходят только одни гении и мудрецы. Павел Егорович, сам обучавшийся на медные деньги, не имел основания не доверять этим россказням, которые к тому же почти всякий раз заканчивались убедительною ссылкою на то, что вот-де сын русского человека – Николаев – изучил греческий язык и теперь получает в конторе Вальяно 1800 рублей в год.

С другой стороны, два или три педагога, преподававшие в гимназии и забиравшие в лавке Павла Егоровича товар на книжку от «двадцатого до двадцатого», всячески предостерегали от греческой школы и стояли горою за гимназию.

– Ну на что вам, Павел Егорович, этот греческий язык, будь он неладен? – говорили они. – Отдавайте детей в гимназию. Во-первых, из гимназии выходит образованный человек с правом на четырнадцатый класс; во-вторых, навсегда избавляется от солдатчины и, в-третьих, может поступить в университет. А из университета дороги всюду открыты: хочет – в чиновники идет, хочет – в доктора, хочет – в учителя… А то можно и в инженеры… Словом, куда угодно…

Павел Егорович колебался. Евгения Яковлевна, смотревшая в будущее шире, стояла за гимназию. Но тут судьба подсунула учителя греческой школы, кефалонца Вучину. Тот в интересах своего учебного заведения и кармана наговорил таких «турусов на колесах» о преимуществах и выгодах греческого языка и так расписал значение синтаксиса, что симпатии Павла Егоровича почти бесповоротно перешли на сторону школы. Выпив два или три стакана сантурин-ского вина, Вучина увлекся, повел рассказ об Илиаде и Одиссее, рассказал с пеною у рта

и с ворочаньем белков о подвигах греческих героев Марка Боцариса и Миаулиса и заявил, что сведения об этом можно почерпнуть только в одной греческой школе и больше нигде.

– Никого я теперь не послушаю, кроме Николая Спиридоновича, – решил Павел Егорович по уходе кефалонца. – Никуда, кроме греческой школы, не отдам детей учиться. Эта школа много выше гимназии…

Таким образом, участь Антона Павловича была решена. Остановка была только за деньгами. За обучение в школе нужно было вносить двадцать пять рублей в год. А их-то, денег, как раз в то время и не было: торговля, как назло, шла из рук вон плохо. В делах был застой. Но судьба и тут оказалась для будущего писателя мачехой. В начале сентября совершенно неожиданно явился в лавку старый должник – степной помещик. Он много лет тому назад задолжал Павлу Егоровичу за товар свыше ста рублей и не платил. Павел Егорович привык уже считать этот долг безнадежным.

– Урожай в этом году был, слава Богу, хорош. Зерно полновесное, – пояснил помещик. – Посмотрите-ка, Павел Егорович, сколько я вам должен?

Павел Егорович раскрыл старые, запыленные книги, помещик, в свою очередь, достал из бокового кармана толстый бумажник – и долг был уплачен. Павел Егорович тотчас же пошел поделиться радостным известием с Евгенией Яковлевной и прибавил:

– Завтра же отвезу Колю и Антошу в школу к Николаю Спиридоновичу.

– Коле и Антоше нужно сначала сшить теплые пальто на зиму, – ответила предусмотрительно Евгения Яковлевна. – Нужно будет послать за отцом Антонием: он сошьет и дешево, и скоро…

За о. Антонием послали в тот же день, а вечером уже велись с ним серьезные переговоры относительно материи, подкладки, фасона, цены за работу и т. п.

О. Антоний был, что называется теперь, личность темная. Никто не знал, откуда он и кто он. Явился он в Таганрог из неведомых мест в виде странника с посохом в руках и с котомкою за плечами. В таком виде он в один прекрасный июльский вечер вошел в лавку к Павлу Егоровичу и попросил ночлега. Будучи человеком религиозным и добрым, Павел Егорович не отказал, и о. Антоний был оставлен ночевать. За ужином он рассказал столько назидательного и чудесного о святых местах, что его наутро попросили остаться обедать. Он согласился и в течение дня помог кому-то чем-то в хозяйстве – и с той поры получил право приходить, когда ему вздумается. Паспорта у него не спрашивал никто, зла он никому не делал, ни в чем дурном замечен не был и, кроме того, объявил себя портным, правда, плохим, но зато очень дешевым. Впоследствии он исчез из Таганрога так же неизвестно куда, как и пришел неизвестно откуда.

Процедура с шитьем двух детских пальто вышла долгая и несколько напомнила гоголевскую «Шинель», но кончилась благополучно, хотя и не без переделок и поправок. Два не по росту длинных пальто с уродливыми капюшонами и длинными рукавами были сшиты – и Коля, и Антоша после молитвы «о еже хотящим учитися» торжественно отведены в греческую школу[2]. Кефалонец, потирая от удовольствия руки, тут же занес в списки учеников два новых имени:

«Николаос Тсехоф» и «Антониос Тсехоф».

Коля – это старший брат Антона Павловича, художник, обнаруживавший недюжинный талант, но рано умерший, также, как и Антон Павлович, от чахотки. Оба брата ходили в школу вместе, оба тянули в ней бесполезную лямку и оба испытывали те прелести, о которых речь впереди.

III

<…> Учение началось с того, что Николай Спиридонович, проводив с поклонами Павла Егоровича до дверей класса, посадил обоих новых учеников на самую первую скамью, т. е.

в приготовительный класс, положил перед каждым из них по тоненькой книжечке под заглавием «Неон Алфавитарион», т. е. «Новая азбука», и сказал:

– Завтра нада приносити за каздая книзка 20 копейк. Сказите это васа папаса. Атипер вазмите книзка и уцыте: альфа, вита, гамма, дельта, эпсилон…

Преподав такое наставление, Николай Спиридонович заложил руки в карманы панталон и медленно отправился в свою жилую половину, которая отделялась от класса одной только дверью. По дороге он заметил, что два ученика третьего класса – Ликиардопулос и Пиратис – не смотрели в книжку, а о чем-то оживленно спорили между собою, и тотчас же принял меры. Взяв каждого ученика за чуб, он несколько раз стукнул их головы висками друг о друга и, выбранившись на греческом диалекте, пошел далее.

Пока он проходил по классу, вся школа, состоявшая из шестидесяти или семидесяти учеников, прилежно читала и зубрила; но лишь только он скрылся за своею дверью, как сразу же поднялся громкий говор и затеялась возня. Молодые силы, насильственно запертые в четыре стены и предоставленные самим себе, рвались наружу. Тут были прыжки и зуботычины и всякого рода шалости. Учитель не показывался из своих апартаментов часа полтора и только раза два, когда шум в классе делался уж очень громким, грозно стучал в свою дверь изнутри. Тогда сразу все смолкало и затихало, и среди учеников пробегал трусливый шепот:

– Дидаскалос! Дидаскалос! (Учитель!)

Время приближалось к полудню. Новички, братья «Тсехофы», уже успели к этому времени и натерпеться от своих товарищей всяких толчков и пинков, и проголодаться, но заданного урока не выучили. Оба они тупо смотрели в свои книжки и ровно ничего не понимали в мудреных буквах греческой азбуки. На их грустное положение не откликнулся никто.

Наконец вышел из своей двери учитель. Все затихло и замерло.

– Встаньте и читайте молитву! – скомандовал он по-гречески.

Ученики быстро поднялись и, стоя на своих местах, оборотились лицом к задней стене, близ которой висела в углу крохотная, едва заметная иконка.

– Спиридон Фекиакис, читай сегодня ты!

Вызванный ученик прочел по-гречески «Отче наш» и еще какую-то молитву в стихах. На половине этой второй молитвы учитель остановил его бранью, вовсе не соответствовавшей религиозному настроению, грозным окриком:

– Врешь! Не так! Герасимос Вогазианос, читай ты!

Второй ученик докончил прерванное чтение. Пока он читал, глаза учителя метали искры на Фекиакиса, который проштрафился ошибкою в молитве.

– К полукругам! – раздалась команда.

Ученики вылезли из-за парт, и каждый класс, за исключением самого старшего, пятого, направился в свой определенный угол. В углах были устроены особые педагогические приспособления. От одной стены до другой, на высоте аршина от пола, шла выгнутая дугой железная круглая полоса, отмежевывавшая четверть окружности, центр которой находился в самом углу. Ученики разместились у этих полос снаружи, лицами в угол и спинами к середине комнаты. Когда это было сделано, учитель вызвал четверых учеников старшего класса и отправил их по одному в каждый угол. Эти старшие ученики, очень польщенные оказанным им почетом, пролезли под полосами в пространство между углом и железом и, очутившись лицом перед младшими товарищами, тотчас же приняли важную и строгую осанку и начали спрашивать уроки.

В классной комнате, у передней стены, лицом к партам стояла на возвышении полукруглая черная деревянная кафедра со стулом внутри. Вокруг этой кафедры стали полукругом ученики пятого класса – здоровенные великовозрастные молодцы, а на стуле поместился учитель. Здесь тоже началось спрашивание уроков. Но перед этим провинившемуся во время молитвы Спиридону Фекиакису было сделано должное внушение. Кефалонец подозвал его к кафедре и, держа в руке толстую линейку, приказал по-гречески:

– Протягивай руку!

Фекиакис заревел.

– Протягивай руку! – уже грозно крикнул Вучина.

Виноватый, не переставая реветь, робко и опасливо протянул руку ладонью вверх. Началась игра кошки с мышкой. Кефалонец взмахивал линейкою в воздухе, с удовольствием нацеливался ею и делал вид, что хочет ударить по ладони. Фекиакис всякий раз нервно отдергивал руку назад, но, повинуясь новым грозным окрикам, должен был протягивать ее снова вперед. Наконец, вдоволь натешившись, Николай Спиридонович отсчитал несколько очень горячих ударов, от которых не только покраснела, но и вспухла ладонь, и отослал плачущего ученика на место.

Занятия в углах тянулись около часа. У учеников, в том числе и у обоих новичков, давно уже устали и отекли ноги. Занимавшийся с приготовительным и с первым классом старший ученик прямо объявил на русском языке Антону Тсехофу:

– Ты, свиня, ницево ни знаис. Ты – новый. Тебе я ни буду спросить урока.

Уроки во всех четырех углах были уже давно спрошены у всех, и ученики с томлением поглядывали на кафедру. Там трое верзил старшего класса стояли на полу на коленях, а Николай Спиридонович, сидя на своем стуле и положив каблук правой ноги на колено левой, молчал, ковырял перышком в зубах и с равнодушием плотно позавтракавшего и сытого человека глядел раздвоенным и ничего не выражавшим взглядом на окно, сквозь которое был виден кусочек моря, противоположный берег залива и над ним – полоска голубого, безоблачного неба. Созерцание это, должно быть, очень нравилось ему, потому что прошло еще довольно много времени, прежде чем он вышел из забытья, очнулся и скомандовал:

– Маршировка вокруг класса!

Ученики, начиная с самых младших, потянулись гуськом вдоль парт. По мере того как они, выстукивая ногами, подвигались вперед, к ним присоединялись постепенно ученики из прочих углов, и, в конце концов, к самому хвосту присоединился и пятый класс, за исключением тех, которые стояли на коленях. Они так и остались стоять. Марширующие, стуча, как лошади, обошли вокруг парт три раза и затем, опять-таки по команде, уселись по местам.

– Достаньте ваши тетради и пишите чистописание! – последовал приказ.

У новичков еще не было ни тетрадей, ни перьев – и они остались сидеть сложа руки. Прочие же ученики, без различия возрастов и классов, достали тетради, гусиные перья, чернила и греческие прописи и принялись за работу. В воздухе повис скрип более полусотни перьев. Вучина, окинув комнату строгим взглядом, ушел опять к себе. Вместе с его уходом прекратилось и чистописание. Но возни и драк уже не было. Ученики были утомлены и голодны. Одни, чтобы убить как-нибудь время, действительно царапали перьями по бумаге, а другие просто сидели, уныло повесив головы или положив их на парты.

Время тянулось бесконечно долго. У мелковозрастных мальчуганов приготовительного и первого класса от голода и от истомы на лицах выступила бледность. Но до этого дела не было никому. Где-то на половине учителя часы наконец пробили чуть слышно три, и только тогда на пороге входных дверей показалась растрепанная и грязная фигура хохлушки-кухарки и повелительно произнесла:

– Ходыть до дому! Миколай Спиридоныч вілів, щоб вы тікали до дому!

Ученики гурьбою и с шумом, давя друг друга в дверях, бросились в обширную переднюю, где висело верхнее платье, и быстро разбежались. В классе остались только печальные коленопреклоненные фигуры трех старших учеников. Они были оставлены без обеда на неопределенно долгое время, потому что Николай Спиридонович после своего обеда имел обыкновение спать и просыпался в разное время – когда Бог на душу положит…

Истомленные и голодные братья с трудом доплелись до дома. У обоих от пережитых ощущений так болели головы, что они ничего не могли есть. Первый визит в школу произвел на них далеко не веселое впечатление.

– Надо будет давать детям с собою по куску хлеба, – решила с материнскою заботливостью Евгения Яковлевна и, покачав грустно головою, прибавила: – Право, лучше было бы их в гимназию отдать, благо она под боком. А с этой школой от одной только ходьбы можно захворать. Шутка ли ходить каждый день такую даль – к Греческой церкви… Тут и у взрослого ноги заболят…

IV

Николай Спиридонович Вучина, или – в греческом произношении – Николаос Вутсинас, по его собственным словам, родился в Кефалонии и в Россию прибыл «без панталониа» искать счастья, которое никак не давалось ему в руки на родине. Получил ли он хоть какое-нибудь образование – осталось навсегда тайною. Точно также никто из таганрожцев не знал, когда и в каком виде он вступил впервые на русскую землю. Все узнали его уже прямо учителем греческой школы, точно он именно учителем, а никем другим, свалился прямо с облаков.

С внешней стороны это был высокого роста, рыжий, бородатый, типичный грек с резкими и угловатыми движениями, с южным сангвинистическим темпераментом, способный быстро воспламеняться, свирепо вращать белками глаз и изрыгать на своем родном наречии всякие отборные словеса. По крайней мере, школа наслушалась этих словес достаточно. Весьма возможно, что в душе он, может быть, был и добрым человеком, но невоспитанность и темперамент делали его подчас очень жестоким. Это тоже многие ученики школы испытали на себе. Учитель он был вообще плохой, с весьма узким кругозором и почти с полным отсутствием преподавательской жилки. Глядя на него и на его занятия в школе со стороны, можно было подумать, что он несет на своих плечах бремя преподавательских забот только потому, что это самое бремя возложено на него его покровителями-меценатами. Если бы его, когда он был еще «без панталониа», меценаты посадили клерком в какую-нибудь хлебную контору, то он и там чувствовал бы себя так же, как чувствовал в школе. Был бы лишь обеспечен кусок хлеба.

Все-таки, при всей своей ограниченности, он был достаточно умен для того, чтобы держаться за этот кусок как можно крепче. Перед меценатами он преклонялся и лебезил; родителей уверял, что их дети учатся прекрасно, умел с увлечением потолковать о синтаксисе, о величии современной Греции и о великодушии и благородстве меценатов и самыми лучшими воспитательными средствами считал оплеухи, щелчки по головам и чуть ли не инквизиционные приемы. Одною из самых несимпатичных сторон его характера было то, что, наказывая ученика, он увлекался, входил во вкус и даже наслаждался страданиями своей жертвы.

Занимался он с учениками очень мало и старался сводить все преподавание к раз навсегда установившейся форме и к установленному числу часов в сутки. Ученики должны были высиживать ежедневно от 9-ти до 3-х, а вопрос об их успехах интересовал его мало. Изредка он подсаживался к какому-нибудь ученику и спрашивал его урок. Но так как учеников было около семидесяти, а он был один, то и не было никакого дива в том, что какой-нибудь Герасимос Магулас или Александрос Ликацас по четыре и по пяти месяцам сидели над одной и тою же страницей раскрытого учебника, нисколько не продвигаясь вперед.

Вутсинас был холост и жил одиноко, но всегда держал у себя женскую прислугу, которую менял часто и присутствие которой тут же рядом, по соседству с классной комнатой, немало волновало старший пятый класс. Великовозрастные детины всегда находили способы пробираться в кухню своего дидаскала (учителя) и затем ухарски рассказывали о своих похождениях, а подростки слушали их, разинув рты и захлебываясь…

На второй день своего поступления братья Чеховы явились в школу с книжками и двумя двугривенными за них, но без знания греческой азбуки. Учитель подсел к ним, как к новичкам, и, увидев, что ни один из них не усвоил названий: альфа, вита, гамма, дельта и т. д., сокрушенно проговорил:

– Ни знаись урок… Ни харасо, ни харасо!.. Нада уцица (учиться)…

Высказав это соболезнование, он отошел к другим ученикам и ровно две недели не обращал никакого внимания на новичков, а те столько же времени тупо просидели над раскрытыми азбуками. Просветил их помощник Вучины – некто Спиро.

По ремеслу Спиро был маклер по хлебной части и справлял кое-какие поручения греческих купцов в таможне по очистке товаров пошлиною. Являлся он в школу довольно редко и занимался с учениками то арифметикой, то греческим чтением, то чистописанием. Урок арифметики заключался в том, что он всей школе сразу задавал задачи на правило сложения и далее этого правила не шел. Человек он был добродушный, но небогатый образованием и весьма скверно говорил по-русски. Ему-то Николай Спиридонович и поручил заняться с двумя новичками. Благодаря лишь ему они кое-как сладили с азбукою, но поладить с своеобразным произношением буквы «фита» не могли никак. Их русские рты не поддавались греческой ломке и не повиновались. Спиро доходил в своем усердии чуть не до белого каления, оттягивал своим большим пальцем нижнюю губу Антона Павловича книзу и приказывал:

– Полози языка на зуба и скази: фита!..

Как ни силился злополучный новичок совладеть с греческим произношением – ничего у него не выходило. Спиро бился, бился и бросил. Братья Тсеховы были опять на несколько месяцев брошены и предоставлены самим себе. В школу они ходили аккуратно, каждый день до утомления высиживали положенное число часов, но к концу первой половины академического года дальше чтения слогов не ушли.

За этот промежуток времени Павел Егорович, чтобы осведомиться об успехах своих сыновей, один раз побывал в школе.

– О, васи сины харасо, дазе оцень харасо уцица! – доложил ему Николай Спиридонович.

Павел Егорович, ничего не смысливший в греческом языке, поверил на слово и ушел домой вполне успокоенный и довольный. Ему по дороге уже грезились где-то на горизонте, в туманной дали будущего, места в конторах: он в мечтах уже видел своего Колю клерком в конторе у Вальяно, а Антошу – в конторе у Скараманга…

Вучина же, чтобы еще более укрепить отца в уверенности, что его дети преуспевают, в тот же день выдал каждому из них по награде. Это были маленькие четырехугольные листочки зеленоватой бумаги, называвшиеся «вравион» (от слова «браво»). На этих листочках по-гречески были напечатаны прилагательные, обозначавшие разные добродетели. Коля принес домой листочек с надписью: «эвсеви́с», т. е. «благочестивый», а Антоша – «эпимели́с», т. е. «прилежный». Павел Егорович показал эти награды своим лавочным завсегдатаям, и те поспешили уверить его, что он прекрасно сделал, что отдал детей в школу, а не в гимназию, и что лучше греческой школы в Таганроге ни единого учебного заведения нет.

V

В тот же самый день, когда Павел Егорович посетил школу, Коля и Антоша, вернувшись домой, рассказали за вечерним чаем, что учитель поставил на колени ученика Фекиакиса. Но на этот рассказ ни Павел Егорович, ни Евгения Яковлевна, занятые своими мыслями и делами, не обратили особенного внимания. Евгения Яковлевна мельком лишь осведомилась, за что именно ученик был наказан, и, узнав, что у него был найден табак, нравоучительно проговорила:

– И за дело. Рано ему еще курить… Смотрите, вы у меня не курите, когда вырастете…

На деле же в школе произошло следующее событие. За полчаса до прихода Павла Егоровича Вучина, выйдя из своих апартаментов, с каким-то особенным выражением лица и особенной походкой хищного зверя направился прямо к парте пятого класса и, схватив семнадцатилетнего Фекиакиса за шиворот, молча приподнял его на ноги и приказал:

– Покажи пальцы!

Застигнутый врасплох, Фекиакис покраснел и в один миг спрятал обе руки за спину, но учитель круто вывернул их, разжал сомкнутые в кулаки пальцы, внимательно осмотрел их и грозно крикнул:

– Фумарис, анафема-су! Ты куришь, анафема!

– Охи! Мато Феб охи! Нет! Ей-Богу, нет! – ответил струсивший ученик и в ответ получил два полновесных удара по лицу.

– Показывай карманы! Дьявол!

И, не давая малому пошевелиться и опомниться, учитель быстро, обеими руками залез ему в карманы панталон и свирепо вывороти л их наружу. Из карманов посыпались гвозди, обрывки веревки, камешки, пробки и корка хлеба, но табаку в них не оказалось. Вучину это нисколько не смутило.

– Показывай, анафема, карманы сюртука!

На обыскиваемом был надет старый, поношенный сюртук с отцовского плеча, застегнутый на пуговицы доверху. Услышав приказ учителя, Фекиакис сильно смутился и судорожно прижал обе руки к пуговицам.

– Ага! – вскричал с торжеством Вучина. – Прячешь!

Ударив малого кулаком по рукам, он одним резким движением расстегнул сюртук и распахнул его. Фекиакис смутился еще более и громко заревел, призывая всю вселенную в свидетели, что он не курит. Распахнутый сюртук обнаружил перед всем классом тайну бедняка: на нем совсем не было сорочки, и только на шее был повязан сложенный в несколько раз коленкоровый женский головной платок. Но учителя эта нагота не смутила нисколько. Он храбро залез рукою во внутренние боковые карманы, но и тут потерпел неудачу: рука его свободно проваливалась под подкладку до самого низа фалд. Карманов в сюртуке не было: были только одни бездонные дыры. Таким же манером были обысканы и задние карманы, но и там оказались такие же дыры.

С лица учителя сразу сбежало уже заранее подготовленное торжествующее выражение, и он уже начинал чувствовать себя неловко перед всеми учениками, с любопытством и страхом следившими за происходящей сценой. Но вдруг его осенила счастливая мысль, и на лице показалось прежнее выражение. Он, как коршун, набросился на шейный платок Фекиакиса, быстро развязал узел, сдернул с шеи и, разложив у себя на колене, стал разворачивать его складки. Фекиакис побледнел.

Увы! В складках платка оказались табак и папиросная бумага. Учитель с неописуемым торжеством поднял эти трофеи театральным жестом вровень со своей головой и показал всему классу, как будто желая оправдаться в произведенном насилии и обыске.

– Принесите лестницу! – скомандовал он.

Двое услужливых учеников-подхалимов, вскочив со своих мест и сбивая от усердия друг друга с ног, бросились опрометью вон из класса и через полминуты не без труда приволокли из кухни переносную, стоячую лестницу о трех ступенях, с помощью которой кухарка закрывала у печей вьюшки. Привычным движением лестница была установлена на середине комнаты, перед кафедрой.

– На колени, на вторую ступень! – скомандовал учитель инквизиторским тоном.

Фекиакис, застегивая застенчиво пуговицы сюртука, пошел молча к лестнице, понурив голову, как приговоренный к смерти, и встал коленями на вторую ступеньку.

– Подайте штрафные дощечки!

Те же двое подхалимов, радуясь возможности прислужиться, сбегали в комнату Вучины и вернулись оттуда с двумя черными дощечками, сквозь которые были продеты шнурки. На одной из них учитель собственноручно написал мелом: «Курит», а на другой – бранное слово. Одна из дощечек была повешена Фекиакису на грудь, а другая на спину. Окончив эту процедуру, учитель отошел на несколько шагов назад и полюбовался фигурою казнимого.

– Этого мало, – произнес он. – Принесите из кухни кочергу!

Кочерга была принесена и подана.

– Принесите из моей комнаты с рукомойника полотенце!

Полотенце было подано, и с помощью его кочерга была повешена за спиною наказуемого наподобие солдатского ружья. Вучина полюбовался и этой картиной. В глазах его уже стало мелькать увлечение.

– Подними, анафема, правую руку кверху и, не переставая, двигай указательным пальцем! Теперь ты будешь знать, как курить…

Сгибать и разгибать непрерывно палец – это чисто инквизиционная пытка. В этом каждый легко может удостовериться на опыте. Несчастный Фекиакис уже через пять минут со страданием на лице опустил отекшую и омертвевшую руку; но кефалонец дал виновному подзатыльник и собственноручно придал руке прежнее положение.

Прошло еще несколько минут. Обессилевшая рука три или четыре раза опускалась, но учитель неумолимо поднимал ее опять вверх.

– Можете меня убить, но я дольше не могу держать, – проговорил со стоном Фекиакис.

– Врешь, анафема! Я тебя научу курить…

– Дидаскале (Учитель)! Кто-то идет! – заявил один из учеников, показывая на двор рукою.

Вучина выглянул в окошко. По двору, по направлению к школе, шел Павел Егорович.

– Убирайся вон, скотина! Садись на место! – крикнул Вучина Фекиакису.

В один миг исчезли и кочерга, и штрафные доски, и лестница. Фекиакис сидел на своем месте и потряхивал онемевшей рукой. Николай Спиридонович в это время стоял уже около двери с самой приветливой улыбкой и, потирая от удовольствия руки, встречал входящего Павла Егоровича.

– Оцень приятна! Оцень приятна! Позалуйте… Бакорнейсе прасу…

VI

Наступили рождественские вакации. У Павла Егоровича вечерком на рождественских святках собрались гости, и ему вздумалось прихвастнуть перед ними познаниями своих детей в греческом языке. Он позвал Колю и Антошу и велел им принести свои книжки и прочесть что-нибудь при гостях. Гости изъявили желание послушать и, как водится, приготовились заранее похвалить из вежливости прилежных мальчиков. Но вместо ожидаемого эффекта получилось полное огорчение для родительского сердца. Коля еще кое-как прочел по складам два слова, а Антоша не мог сделать даже и этого и только пыхтел от напряженных усилий прочесть. Павел Егорович был поражен.

– Полгода ходите в школу, а даже и читать не научились?! – воскликнул он.

– Нам в школе никто не показывает, – ответили мальчики.

Начались на эту тему разговоры. Павел Егорович обвинил детей в лености и тут же, при гостях, сделал им выговор. Коля и Антоша ушли спать в слезах. Ночью Антоша во сне вздрагивал и часто просыпался. <…>

VII

Но не всегда кефалонец оказывался строг. Бывали недели, когда он был кроток и добр и не только не отжаривал учеников по рукам линейкою и не давал им оплеух, но даже снисходил до того, что поглаживал некоторых мальчуганов по головке. Вся школа в такие «добрые» промежутки оживала и дышала свободнее.

Но юные натуры всегда остаются юными, и от шалостей молодежь не отказывается никогда. В один из таких добрых промежутков ученики пятого класса совершили выходку, испортившую все дело и повернувшую настроение учителя опять на старый строгий лад.

Одна из дверей классной комнаты вела в то необходимое помещение, без которого не обходится ни одно жилье. Этим помещением пользовались одинаково как ученики, так и учитель, но только учитель держал свое отделение на замке.

В один довольно пасмурный и нагонявший угрюмое настроение день помощник учителя – Спиро, побывав в этом местечке, подошел к Николаю Спиридоновичу и сказал по-гречески:

– Пойдем-ка, я тебе покажу нечто интересное.

Вслед за этим они оба удалились туда, откуда только что вышел Спиро, и менее чем через пять секунд Вучина вылетел, взбешенный донельзя.

– Кто осмелился написать? – закричал он, вращая белками.

Ответа не последовало.

– Вы молчите? Хорошо же! – прошипел он, захлебываясь от гнева. – Это сделал кто-нибудь из пятого класса… Я найду виноватого… Антонопулос, ступай к доске и напиши слово «дидаскалос» (Учитель).

Антонопулос исполнил это. Учитель всмотрелся в его почерк и сбегал свериться.

– Что там такое написано? – осведомились встревоженные ученики у Спиро.

– Там какая-то скотина написала на стене мелом: «Дидаскалос треллос» (учитель – дурак), – ответил добродушный Спиро.

Возвратившийся с ревизии учитель стал вызывать поочередно к доске остальных учеников, прихватывая кое-кого и из четвертого класса.

– Вогазионос, напиши ты «дидаскалос»!.. Диамандидис, иди ты и напиши то же слово… Магулас, пошел к доске ты…

Все писали, и учитель с тщательностью эксперта сверял почерки и старался открыть виновного. Один из учеников, памятуя фразу, произнесенную устами Спиро, вздумал было написать ее целиком, но лишь только вывел первые три буквы «трел…» (дур…), как сподобился пощечины.

Перебрав и сличив все почерки и сбегав еще раз пять или шесть сверить с подлинною фразою, кефалонец решил, что дерзким злоумышленником должен быть не кто иной, как Фекиакис. Напрасно бедняга божился и клялся, что он не писал ни одной буквы и что его почерк совсем иной. На него посыпались оплеухи и щелчки без счета. Он едва успевал прикрывать голову руками.

Но оскорбление не могло быть смыто одними только колотушками. Оно было слишком глубоко. Немезида требовала мщения, соответствующего вине. Фекиакиса увешали позорными досками, привязали к спине накрест кочергу и ухват и в таком виде поставили на стул, как на лобное место, перед кафедрой. Так он простоял до самого конца дневных занятий в школе. В этот день учеников распустили по домам не всех сразу, а поодиночке: каждого ученика в отдельности Спиро и Вучина подводили к виновнику и приказывали:

– Скажи: «Мерзавец» – и плюнь ему в лицо.

Ученики в точности выполняли приказ, и только после этого их выпускали в переднюю одеваться. Антон Павлович тоже исполнил этот обряд оплевания и долго потом помнил его,

хотя и не любил вспоминать о нем, как о гнусном надругательстве над человеком из чувства личной мести.

Фекиакис простоял на стуле трое суток. Его отпускали домой только на один час пообедать. Вся эта печальная история закончилась еще более печальным финалом. Вскоре после этого происшествия вышел из школы самый старший по возрасту ученик, двадцатилетний Антонопулос. Ему стало уже невмоготу сидеть на школьной скамье. Уходя и прощаясь с товарищами, он со злым смехом заявил:

– А ведь эту фразу «дидаскалос треллос» написал не Фекиакис, а я…

Кефалонец заскрежетал зубами, но уже было поздно. Антонопулос уже не был учеником школы и в случае сведения личных счетов мог бы постоять за себя и ответить с лихвою…

Зимние месяцы прошли. Запахло весною – ароматною южною весною. Скоро в садах зацвели тюльпаны и сирень. Приближались экзамены. Павел Егорович ждал их с нетерпением и был вполне уверен, что Коля и Антоша перейдут в следующий класс. Но на деле оказалось, что они в течение всего года не только не учили таинственного «синтаксиса», но даже и не научились по-гречески ни читать, ни писать. Мечтам о конторе не суждено было осуществиться. Они разлетелись как дым. Евгения Яковлевна, стоявшая за гимназию, и знакомые педагоги взяли верх. Павел Егорович вздохнул и ближайшей же осенью облек детей в гимназические мундиры. Антоша поступил в приготовительный класс.

Незадолго до смерти Антона Павловича я был в Ялте и сидел в его кабинете. Толковали о многом и, между прочим, вспоминали старину. Антон Павлович тогда собирался за границу, в Баденвейлер. Он был весел и хорошо настроен. Предстоящая поездка ему улыбалась. Во время разговора принесли почту – объемистый пук газет, книг и писем. Отложив газеты в сторону, Антон Павлович стал пересматривать присланные ему книги и, раскрыв одну из них, засмеялся своим тихим, добродушным смехом.

– Вот меня и на греческий язык перевели; издатель книжку прислал[3], – сказал он. – По-видимому, и биографию приложили. Посмотри-ка, что такое обо мне пишут… Ты ведь еще помнишь греческий язык.

Первые же переведенные строки биографии заставили его еще раз засмеяться. Там значилось, что Антон Павлович происходил из духовной семьи и что отец его был певчий.

– Ты, однако же, несмотря на свои старые годы, все еще помнишь греческий язык, – сказал он. – А вот я так совсем не знаю его, хотя тоже когда-то учился в греческой школе. Не люблю я вспоминать о ней. Много испортила она моих детских радостей… Интересно было бы знать, живы ли еще Вучина и Спиро?..

Разговор перешел на воспоминания. И это был один из последних наших разговоров в Ялте.

В гостях у дедушки и бабушки
Страничка из детства Антона Павловича Чехова

I

<…> Мы были гимназистами: я только что перешел в пятый класс, а Антон – в третий. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимою, кроме того, было и холодно: руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. Но самое скверное и горькое было то, что «у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порезвиться, пошалить, побегать и отдохнуть. В то время когда наши товарищи-гимназисты, приготовив уроки на завтра, гуляли и ходили друг к другу в гости, мы с братом были прикованы к лавке и должны были торговать. Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу-лавку и желали ей провалиться в преисподнюю.

Отец наш смотрел на дело совсем иначе. Он находил, что шалить, бездельничать и бегать нам нет надобности. От беганья страдает только обувь. Гораздо лучше и полезнее будет, если мы станем приучаться к торговле. Это будет и для нас лучше, и для него полезнее: в лавке постоянно будет находиться свой «хозяйский глаз». Об этом «хозяйском глазе» Павел Егорович хлопотал особенно. Дело в том, что в лавке находились «в учении» и торговали два мальчика-лавочника – оба очень милые ребята, но их постоянно подозревали в том, что они тайком едят пряники, конфеты и разные лакомства и воруют мелкие деньги. Для того же, чтобы этого не было, отец и сажал нас в лавку в надежде, что мы, как родные дети, будем оберегать его интересы. Не знаю, был ли прав Павел Егорович и воровали ли мальчики-лавочники, но если говорить по совести, то первыми воришками были мы с Антошей. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники или ароматное монпансье: и мы охулки на руку не клали и этим отчасти утешали себя за вынужденное лишение свободы и за тяжелый плен в лавке.

Особенно обидно бывало во время каникул. После трудных и богатых волнениями и заботами экзаменов все наши товарищи отдыхали и разгуливали, а для нас наступала каторга: мы должны были торчать безвыходно в лавке с пяти часов утра и до полуночи. В этих случаях нередко заступалась за нас наша добрая мать, Евгения Яковлевна. Она не раз приходила часов в одиннадцать вечера в лавку и напоминала отцу:

– Павел Егорович, отпусти Сашу и Антошу спать. Все равно ведь уже торговли нет…

Отец отпускал нас, и мы уходили с глубокою благодарностью матери и с ненавистью к лавке. Отец же, ничего не подозревая, простодушно и искренно говорил матери:

– Вот, Евочка, слава Богу, уже и дети мне в торговле помогают…

– Конечно, славу Богу, – соглашалась мать. – Жаль только, что у них, у бедных, каникулы пропадают.

– Ничего. Пусть к делу приучаются. Потом, когда вырастут, нагуляются…

Судьба, однако же, сжалилась над нами, и одни каникулы у нас не пропали даром. Нас отпустили из душного города в деревню, к дедушке и к бабушке в гости. Это не важное само по себе событие осталось у нас в памяти надолго.

Дедушку Егора Михайловича и бабушку Ефросинью Емельяновну мы знали очень мало или даже почти вовсе не знали. Но рассказов, и притом рассказов самых завлекательных, мы

слышали о них очень много. Отец нередко, придя в благодушное состояние, говаривал сам про себя:

– Эх, теперь бы в Крепкую съездить к папеньке и к маменьке! Теперь там хорошо!..

Если это восклицание вырывалось у нашего отца при нас, при детях, то мы настораживались, а он обыкновенно начинал с любовью рассказывать о своих родителях, то есть о наших дедушке и бабушке, и в его рассказах слобода Крепкая выходила таким раем земным, а старые дедушка и бабушка такими прекрасными людьми, что нас так и тянуло к ним.

– Вот бы поехать в Крепкую! – вздыхая, говаривал Антоша после таких рассказов.

– Да, не дурно бы, – вздыхал в свою очередь и я. – Но ведь нас одних не пустят. К тому же и лавка…

Дедушка наш, Егор Михайлович, много, много лет служил управляющим у богатого помещика, графа Платова, и жил безвыездно в слободе Крепкой, лежащей верстах в семидесяти от Таганрога. В те времена на юге России железных дорог не было и семьдесят верст были таким огромным расстоянием, что наш отец и дедушка, живя так недалеко друг от друга, не виделись целыми десятками лет. Отец наш если и вздыхал по временам по Крепкой, то скорее по воспоминаниям, и если бы и попал в эту слободу как-нибудь вдруг, каким-нибудь волшебством, то, наверное, не узнал бы ее, а пожалуй, и заблудился бы в ней. Тем не менее она казалась ему прекрасной, и рассказы о ней приводили нас в восхищение. Мы с детства были знакомы со степями, окружавшими Таганрог, но, по рассказам отца, степи в Крепкой были куда роскошнее и просторнее наших, а степная речка Крепкая являлась чуть ли не царицей всех степных рек России. Отец невольно, и сам того не подозревая, поэтизировал места и людей, которые окружали его молодость, но мы, дети, принимали все это за чистую монету и страстно мечтали о том, чтобы хоть когда-нибудь побывать в этих благодатных местах.

– Когда я вырасту большой и у меня будут свои деньги, то я непременно съезжу к дедушке и бабушке, – мечтал Антоша.

Я хотя и был почти на три года старше брата Антона, но на этот счет думал так же, как и он, и мечтал буквально так же. Я уже побывал в соседних городах: Ростове-на-Дону и Новочеркасске, и видел воочию реку Дон; но все-таки мне казалось, что степная слобода Крепкая, с ее речонкой, гораздо больше, красивее и даже величественнее этих городов, – и меня тянуло туда.

Можно представить себе поэтому, что испытали я и брат Антоша, когда однажды в июльский вечер наша добрая мать, Евгения Яковлевна, с улыбкою шепнула нам:

– Проситесь у папаши: может быть, он вас и отпустит ненадолго погостить в Крепкую. Оттуда оказия пришла…

«Оказия пришла» – значило, что кто-нибудь из Крепкой приехал. Мы давно уже привыкли к этому слову и понимали его. В те времена почта в слободу Крепкую не ходила.

Узнав от матери об оказии, я и Антоша со всех ног опрометью бросились в лавку, к отцу, и, несмотря на то что там были посторонние покупатели, заговорили в один голос.

– Папаша, милый, дорогой, отпустите нас к дедушке в гости!..

Не знаю, было ли заранее условлено между нашими родителями доставить нам это удовольствие или же на отца напал особенно добрый стих, но только, к нашему необычайному удивлению, прямого отказа мы не получили.

– Там увидим, – сказал отец в ответ на наши просьбы. – Утро вечера мудреней. Там посмотрим, – прибавил он загадочно.

С этим ответом мы оба, взбудораженные и взволнованные, полетели к матери.

– Мамочка, папаша сказал, что утро вечера мудренее. Как вы думаете, отпустит он нас или нет?

– Не знаю, – отвечала мать, тоже, как нам показалось, улыбаясь загадочно.

– Попросите, дорогая, золотая, чтобы отпустил! – взмолились мы оба.

– Проситесь сами. Может быть, и отпустит…

Тон, которым мать произнесла последние слова, показался нам почти что обнадеживающим, и мы возликовали и попросились в городской сад, где каждый вечер играла музыка и собиралось много публики. Нас отпустили с обычным напутствием:

– Идите, только возвращайтесь пораньше и смотрите не шалите там…

Какое тут шалить! Тут было не до шалостей. Мы переживали такое важное событие, что о шалостях нечего было и думать. Душа просилась наружу и требовала поделиться с товарищами. Антоша, как маленький гимназистик, встретив своих товарищей, сказал просто:

– Меня с Сашей папаша, кажется, отпустит в Крепкую к дедушке. Говорят, что там хорошо…

Ученику пятого класса, каким я гордо считал себя в то время, не годилось, конечно, объявлять о предстоящей поездке так просто и так детски наивно. Поэтому я, напустив на себя серьезность, начинал речь с гимназистами и с товарищами по классу не иначе, как словами:

– Я, кажется, скоро ненадолго уеду из Таганрога, поэтому…

Эту ночь мы спали довольно плохо, и старая нянька, Аксинья Степановна, доложила наутро матери, что Антоша ночью метался. Мне же снилось, что куда-то еду и никак не могу приехать: что-то задерживает и препятствует… Первый вопрос утром, когда мы только что раскрыли глаза, был:

– Отпустят нас или не отпустят? Поедем мы или не поедем?

Понятное дело, что мы сейчас же пристали к родителям; но мать была чем-то озабочена по хозяйству, а отец приказал нам заняться торговлею в лавке и сам ушел куда-то по делу до самого обеда. Мы приуныли было, но скоро несколько и утешились. Мы узнали, кто приехал от дедушки и от бабушки «с оказией».

Это был машинист графини Платовой!.. Это была в своем роде персона!

Часов около двенадцати дня к дверям лавки подъехали длинные дроги, запряженные в одну лошадь. Лошадью правил молодой хохол, парень лет восемнадцати или девятнадцати. Дроги остановились, и с них слез и вошел в лавку приземистый человек лет сорока, или около того, в поношенной и запыленной нанковой паре и в измятой и тоже запыленной фуражке. Мы приняли его за обычного покупателя и уже приготовились задать обычный вопрос: «Что вам угодно?», но он опередил нас озабоченным вопросом:

– А Павел Егорович где?

Мы ответили, что отец наш, Павел Егорович, скоро придет, но что если нужен какой-нибудь товар, то можем отпустить и мы, без отца.

– Да нет же, не то! Какой там товар, – заговорил еще более озабоченным тоном приземистый человек. – Мне самого Павла Егоровича нужно. Да и не его самого, а письмо. Он обещал приготовить письмо в Крепкую, к своему родителю, и велел заехать… Я заехал, а его нету… А мне спешить надо: завтра утречком раненько я домой отправлюсь…

У меня и у Антоши забилось сердце.

– Вы не знаете, дети, написал ваш папаша письмо к Егору Михайловичу или нет? – обратился он к нам.

Мне показалось обидным, что этот господин так бесцеремонно зачислил меня, ученика пятого класса, в разряд детей, но я поборол в себе оскорбленное самолюбие, потому что видел перед собою ту самую «оказию», от которой зависела, быть может, наша предполагаемая поездка. Я вежливо ответил, что о письме нам ничего не известно, и с бьющимся сердцем спросил:

– Вы из Крепкой? Как поживают там дедушка Егор Михайлович и бабушка Ефросинья Емельяновна?

– А что им, старым, делается? – равнодушно и как бы нехотя ответил приземистый человек. – Только они живут не в Крепкой, а в Княжой, в десяти верстах. В Крепкой другой управляющий, Иван Петрович.

– Как не в Крепкой? – удивился я. – Ведь дедушка раньше в Крепкой служил у графини Платовой.

– Служил, а теперь не служит больше. Проштрафился чем-то, ну, графиня и перевела его подальше от себя, в Княжую…

Еще более удивленный этим неожиданным сообщением, я стал было задавать еще целый ряд вопросов, но человек, изображавший собою «оказию», уже не слушал меня, а подойдя к дверям лавки, стал кричать на улицу молодому парню, сидевшему на дрогах:

– Ефим! Гайка цела?

– Цела, – отвечал лениво парень.

– И винт цел?

– Все цело! – ответил еще ленивее парень.

– То-то, гляди у меня, не потеряй: без гаек и без винта машина не пойдет… Ежели потеряешь, не дай Бог, то придется опять в Таганрог ехать и графиня ругаться будет!.. Ты погляди под собою на всякий случай: цело ли?

Ефим отмахнулся от этих слов, как от назойливой мухи, ничего не ответил и только вытер ладонью вспотевшие и загорелые лицо и шею. Июльское полуденное солнце пекло страшно и накаливало все – и каменные ступени крыльца, и пыль на немощеной улице.

Все изнывало от жары. Одни только воробьи задорно чирикали и весело купались в дорожной горячей пыли. Не получив ответа от Ефима, приземистый человек обернулся к нам и стал объяснять:

– Тут, дети, такая история вышла, что и не дай Бог. В машине лопнула гайка от винта – и пришлось за нею, за треклятой, из Крепкой в Таганрог ехать. Без гайки машина не пойдет. Без гайки возьми ее да и выбрось. Привезли винт да по нем и подобрали гайку в железной лавке.

– Какая это машина? – полюбопытствовал брат Антоша.

– Известно, какая бывает машина, обыкновенная, – получился ответ. – Так нету письма? Что же мне теперь делать? Мне надо завтра раненько утречком, чуть свет, домой отправляться, иначе мы к ночи назад в Крепкую не поспеем… И графиня будет недовольна… Графиня у нас строгая.

– Подождите. Скоро папаша придет, – посоветовали мы.

– Как тут ждать, когда спешка… Ежели нескоро, то я без письма уеду. Так и скажите папаше…

Он снова повернулся лицом на улицу и крикнул своему вознице:

– Гляди же, Ефим, не потеряй!.. Накажи меня Бог, опять придется в город ехать…

Тут, к нашему неописанному удовольствию, на пороге показался возвратившийся отец. Приземистый человек снял фуражку и с выражением радости на лице обратился к нему:

– А я, Павел Егорыч, за письмом!.. Думал уже, что с пустыми руками уеду, накажи меня Бог…

Когда отец был в лавке, наше присутствие не считалось необходимым, и мы тотчас же полетели к матери докладывать о происшедшем.

– Значит, мы с ним поедем? С этим человеком, у которого винт и гайка? – захлебываясь, допрашивали мы.

Но ответа мы не получили. Мать вызвали к отцу в лавку, и мы не узнали ничего. Через четверть часа, однако же, я не утерпел и послал брата.

– Сходи, Антоша, в лавку будто бы по какому-нибудь делу и посмотри, что там творится. Может быть, и услышишь что-нибудь.

Брат сходил и очень скоро вернулся с известием, что родители и приезжий сидят за столом в комнате при лавке и что перед приезжим поставлены графинчик с водкой и маслины. Когда же Антон остановился среди комнаты и хотел послушать, о чем говорят, то ему было сказано:

– Иди себе. Нечего слушать, что старшие говорят…

– Ну, брат Антоша, значит, поедем, – решил я. – Папаша зря никого водкой угощать не станет… Советуются…

Брат только вздохнул, и мы оба еще пуще заволновались. Очень уж нам хотелось вырваться на свободу и хоть на несколько дней избавиться от опостылевшей лавки. Собственно, дедушка и бабушка манили нас к себе очень мало: нас прельщала жажда новых мест и новых приключений. Года два или три тому назад старики, Егор Михайлович и Ефросинья Емельяновна, приезжали на короткое время в Таганрог и произвели на всю нашу семью и на всех наших знакомых не особенно выгодное для себя впечатление своей деревенской мужиковатостью и тем, что осуждали городские порядки. Дедушка резко нападал на моды, и матери, и теткам сильно досталось от него за тогдашние шляпы и шлейфы. Отцу нашему сильно досталось за то, что он отдал нас в гимназию, а не рассовал в мастерство к сапожникам и портным.

– Там, по крайней мере, из них люди вышли бы, – подкрепил дедушка свои доводы, – а в гимназии они, не дай Бог, еще умнее отца с матерью станут…

Я попробовал было тогда вмешаться в разговор и заступиться за честь гимназии, но дедушка без церемонии оборвал меня грозными словами:

– А ты молчи и не суйся, когда старшие говорят… Из молодых да ранний!.. Ученый дурак…

Тогда я страшно оскорбился, но возражать, конечно, не смел и только затаил оскорбление в душе. Я помнил эту обиду и теперь; но что стоит какая-нибудь ничтожная размолвка в сравнении с веселой поездкой, с сознанием того, что ты свободен, что ты принадлежишь самому себе и что не нужно сидеть в лавке! За это все можно было простить…

Антоша привык верить мне, как старшему, и теперь смотрел мне прямо в лицо, стараясь прочесть на нем, точно ли я сам уверен в том, что мы действительно поедем. Но я сам страшно волновался и испытывал ощущения человека, которого приговорили к наказанию, но могут и простить; состояние довольно жуткое – в душе и надежда, и страх…

По случаю угощения «оказии» обедали несколько позже обыкновенного, но мы с братом Антошей почти ничего не ели и томились страшно в ожидании, чем решится наша участь. А отец и мать как назло молчали и только изредка перекидывались между собою ничего не значащими словами. Лишь уже вставая из-за стола, отец как-то вскользь проговорил матери:

– Я, Евочка, пойду писать папеньке и маменьке письмо, а ты приготовь детям что нужно в дорогу…

– Поклонись им и от меня, – совершенно спокойно ответила мать.

Мы с братом радостно переглянулись. Хотя нам не было прямо сказано ни одного слова, но мы поняли, что наша давнишняя мечта близка к осуществлению и что мы едем. Но нас страшно удивило то спокойствие, с каким родители отнеслись к такому необычайному событию, как наша поездка. Тут нужно радоваться, кричать, прыгать. А они…

И действительно, как только отец скрылся за дверью, я сразу позабыл, что я ученик пятого класса, и принялся так прыгать козлом и выдавать такие коленца, что старая нянька, Аксинья Степановна, только всплеснула руками и в испуге проговорила:

– Мать-царица Казанская Богородица! Никак ты, Саша, белены объелся?! Антошу-то пожалей: ведь и он, малый ребенок, глядя на тебя, такие же выкрутасы выделывает и того и гляди шейку себе сломает!.. Не беснуйся, говорят тебе!..

Но мы не слушали няньку и продолжали бесноваться и неистовствовать. Я вертелся на одной ноге и бессмысленно, бессчетное число раз повторял:

– Едем в Крепкую! Едем в Крепкую! Едем в Крепкую!..

В этот миг малороссийская, совершенно еще незнакомая нам слобода казалась прекраснее всех населенных мест в мире и даже много лучше, чем повествовал о ней отец.

Вечером нам было официально объявлено, что нас отпускают к дедушке и к бабушке в гости, что повезет нас машинист графини Платовой и что мы должны вести себя как в дороге, так и в Крепкой прилично, не шалить, между собою не ссориться и не драться, к дедушке и к бабушке относиться почтительно и так далее, и так далее. Словом, было прочитано неизбежное в таких случаях нравоучение, удостоверявшее, что мы и в самом деле едем… В заключение нам рекомендовалось лечь спать как можно пораньше.

– Машинист сказал, что в шесть часов утра он уже приедет за вами, и просил его не задерживать. Вам надо встать в пять. Явдоха вам самовар поставит, – сказала мать.

Само собою разумеется, что от волнения и от радости мы не были в состоянии заснуть добрую половину ночи и после долгой, нервной бессонницы сладко и крепко разоспались как раз к тому времени, когда уже нужно было вставать. Дюжая хохлушка Явдоха лишь с большим трудом растолкала меня и Антошу.

II

Июльское раннее утро, как это часто бывает на юге России, выдалось прелестное – ясное и свежее, с чуть заметной, приятной прохладой. В самом начале шестого мы с Антошей были уже на ногах и пили чай, поданный полусонной Явдохой. Но чай не лез в горло. Какое могло быть чаепитие, когда мы по десяти раз в одну минуту должны были подбегать к окошку и смотреть, не подъехал ли машинист графини Платовой?!. При охватившем нас волнении мы не были в состоянии проглотить ни одной крошки хлеба, а чая не были в силах выпить и по полустакану. Мы боялись, как бы не прозевать.

В шесть отперли лавку, и мы бросились туда, потому что из дверей ее были видны три улицы сразу. Вышел отец, степенно, как всегда, помолился Богу, сел за конторку спокойно и чинно и минут через десять спросил:

– Не приезжал еще этот, как его..?

– Нет еще, – ответили мы оба в один голос, почти дрожа от нетерпения.

Отец зевнул и, по-видимому, от скуки, так как не было еще ни одного покупателя, начал:

– Так вы, Саша и Антоша, того… Кланяйтесь дедушке и бабушке, ведите себя хорошо, не балуйтесь…

Началась снова длинная, тягучая вчерашняя канитель, но мы не в силах были ее слушать. Уже была половина седьмого, а машиниста еще не было. В моем мозгу вдруг пронеслась убийственная мысль.

– Уж не проспали ли мы его? – шепнул я брату. – Он ведь хотел с зарею, чуть свет…

Антоша изменился в лице и только пристальнее стал смотреть на дорогу, по которой должен был приехать машинист.

Пробило семь. С того момента, как мы проснулись, протекло уже два часа – два часа самого беспокойного и томительного ожидания. Кто переживал подобные часы, тот поймет, что мы перечувствовали. В наши души начало прокрадываться отчаяние. Вскоре вышла и мать, слегка заспанная, и первым делом удивилась:

– Вы еще не уехали? А я боялась, что просплю… Передала вам няня Аксинья Степановна узелки, один с едою, а другой с бельем? Смотрите не забудьте взять с собою гимназические драповые пальто на случай, если пойдет дождь… Досыта ли напились чаю?..

Добрая мать сразу же захлопотала о нас и о наших удобствах в дороге, вовсе даже и не догадываясь о той муке, которая терзала наши души. Она хлопотала, но мы только делали вид, будто слушаем ее; на самом же деле все наше внимание было обращено на улицу, где должны

были загрохотать колеса вчерашних дрог. Часы пробили половину восьмого, и на наших лицах, должно быть, появилось очень скорбное выражение, потому что и мать, взглянув на нас и на часы, сочувственно произнесла:

– Что же это он? Обещал в шесть… Верно, задержало что-нибудь… Как бы не обманул…

Это еще более подлило отчаяния в наши уже и без того исстрадавшиеся сердца. Но судьбою нам предназначено было испытывать волнения и муки еще целые полчаса. Машинист приехал только в восемь, и приехал озабоченный и торопливый. <…>

Мы стояли тут же перед ним, держа каждый по узелку, но он не видел нас и только торопил.

– Да поскорей же, Павел Егорыч, давайте детей! Не поспеем, накажи меня Бог… Дорога длинная… Ефимка, гайка и винт целы? Гляди не потеряй!.. Ага, вы уже готовы?! Вот и хорошо! Садитесь поскорее на дроги и поедем! Скорей, скорей!.. Господи, куда уже солнце поднялось, убей меня Бог!.. Ну, живо, живо!

Но не тут-то было. Отец величаво поднялся с своего места, взял в руки книжку в кожаном переплете и сказал, обращаясь к нам и к машинисту:

– Пожалуйте!

– Куда еще? – оторопел машинист. – Мне некогда. Ехать надо… Опоздали…

– Пожалуйте! Без этого никак нельзя! – строго сказал отец и повел нас всех в комнату при лавке. Здесь, поставив нас лицом к висевшей в углу иконе, он не торопясь раскрыл книгу в кожаном переплете, порылся в ней и начал внятно и медленно читать молитву «о странствующих, путешествующих и сущих в море и далече…»

– Да Боже мой! Какие тут молебны, когда ехать надо?! – запротестовал машинист.

– Молитесь и вы, – сказал отец, обращаясь к машинисту. – Вы тоже едете, и вам также благословение Божие нужно… – строго сказал отец и продолжал читать.

Читал он медленно и внятно. Он был набожен, не пропускал по праздникам и под праздники ни одной церковной службы, любил читать на клиросе и вообще ничего не предпринимал без молитвы. Машинист не знал этих особенностей и настойчиво прервал чтение.

– Ну, помолились и будет! – сказал он. – И так опоздали, накажи меня Бог!

Отец, не обращая внимания, продолжал читать, прочел молитву до конца и закрыл книгу. Машинист обрадовался.

– Положите теперь по три земных поклона, – приказал нам отец.

– Фу ты, господи боже мой! – хлопнул себя по бедрам машинист. – Говорят же вам, что мы, пожалуй, до Крепкой нынче не доедем!..

– Без благословения Божия нельзя. Все надо начинать с молитвою, – произнес отец, пока мы клали поклоны.

– Вот такой же, накажи меня Господь, и родитель ваш Егор Михайлович упрямый! – проговорил с досадою машинист. – Ты ему говоришь свое, а он тебе – свое. За то его графиня и в Княжую из Крепкой на понижение перевела… Ну, дети, кончили поклоны, – теперь гайда на дроги! Берите, какие там у вас есть вещи, и скорее садитесь!.. И так опоздали, накажи меня Господь…

Мы с братом бросились опрометью к двери, но отец остановил нас.

– Подойдите под благословение! – сказал он и стал крестить нас медленно и истово.

Машинист имел вид человека, готового треснуться головою об стену.

– Живо, живо! – торопил он нас. – Ежели бы я знал, что такая проволочка времени будет… Теперь бы мы уже за пять верст от города были… Отблагословились, дети, и гайда!.. Прощайте, Павел Егорыч!..

– Сходите теперь к мамаше, пусть она вас благословит на дорогу, – обратился к нам отец с прежней степенностью.

Машинист круто повернулся и быстро направился было к двери. Мы с братом побледнели. Но, по счастью, мать оказалась тут же и поджидала нас. Она наскоро перекрестила нас и еще скорее проговорила:

– Ну, поезжайте с Богом! Все ли взяли с собою?.. Охота тебе, Павел Егорович, человек в самом деле спешит. Ему минута каждая дорога…

– Вот, вот, Евгения Яковлевна! – обрадовался машинист. – Именно каждая минута, а тут молебны поют… Все на мою бедную голову валится, накажи меня Бог!.. И винт, и гайка, и Ефимка чертов проспал… Прощайте… Я бы теперь уже за десять верст был… До свидания!.. Гайда, дети… Ефимка, пускай дети сядут!..

Само собою разумеется, что повторять нам было незачем. Наскоро поцеловав руку отцу и матери, мы менее нежели в три секунды уже сидели на дрогах, свесив ноги и прижимая к себе узелки. Отец и мать прощались на крыльце лавки с машинистом, говорили нам что-то и спрашивали, но мы не слушали и отвечали невпопад. Мы радовались и в то же время трепетали, как бы на грех не случилось опять какой-нибудь задержки. Но на этот раз все обошлось благополучно и даже, пожалуй, более чем благополучно, потому что машинист, сняв фуражку и осклабившись, сказал отцу:

– Покорнейше вас благодарю, Павел Егорыч! Будьте спокойны: довезу деток в полной сохранности. Они у вас оба хорошие дети. В целости доставлю, накажи меня Бог.

Распрощавшись с нашими родителями, машинист подошел к дрогам, спрятал в кошелек не то монету, не то бумажку и весело заговорил:

– Уселись, дети? Хорошо уселись? Ты смотри, Ефимка, это такие дети, такие дети, что… Гайка и винт целы? Не потеряли? А то ведь за ними, накажи меня Господь, опять придется ехать в Таганрог… Сиди на них покрепче, и чтобы они из-под тебя не вывалились по дороге… Убью, накажи меня Бог, убью!.. Бублики и огурцы взял?

– Садитесь уже, будет вам хороводиться! – проговорил с неудовольствием Ефим.

– Садитесь! – передразнил машинист. – Надо сесть поудобнее и чтобы не раздавить… Теперь нас на дрогах не двое, а четверо… Фу, как солнце высоко поднялось! Не доедем нынче… Ну, гайда с Богом! Трогай… Господи благослови…

Машинист, усевшись спиною к нам и тоже свесив ноги, перекрестился несколько раз быстро, скорее махая рукою, нежели крестясь. Ефим чмокнул, и мы тронулись. С крыльца лавки нас провожали напутственными возгласами чуть не все домочадцы. Даже Явдоха, бросив кухню, выбежала сюда же поглядеть, как отъезжают паничи. Мать благословляла нас вслед и что-то говорила, но мы не слышали ничего, да, по правде сказать, и не слушали, не до того нам было. Последняя фраза, долетевшая до нас, была;

– Смотрите же, не шалите там! Дедушка этого не любит.

Больше мы уже ничего не могли услышать, потому что за нами уже стояло огромное облако пыли, поднятой с немощеной улицы копытами лошади и колесами наших дрог. Эта пыль сразу окутала нас и мигом осела на нас же. Но мы были рады ей как чему-то особенно приятному и дорогому. Мы были на свободе. Все осталось позади нас в этом буром столбе – и гимназия, и лавка, а впереди нас ждали широкие и необъятные степи и такой простор, широкий и ничем не стесняемый простор, что перед ним покидаемый нами город казался тесной тюрьмою.

III

Минут через десять мы были уже в степи, переживавшей в июле вторую половину своей молодости. Все степные растения спешат отцвести к июню и в июле дают уже семена, а сами блекнут, покорно отдаются во власть палящего солнца, буреют и сохнут. Но и в эту пору степь прекрасна своим широким простором и курганами. Сверху, с голубого горячего неба, льется

трель невидимого жаворонка. Сколько ни ищи его глазами – ни за что не увидишь. Виден только плавно парящий коршун. Крылья его почти неподвижны, и он каким-то чудом держится в воздухе; потом вдруг, свернувшись клубком, стремительно падает на землю, как камень, и вновь взвивается вверх, но теперь уже с добычей. Низко над травою и бурьяном летают разноцветные бабочки, а в траве, сидя на задних лапках, свистят суслики.

Хорошо, ах, как хорошо, просторно и свободно! Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. Дорога была гладкая, и мы катились ровно и без толчков, оставляя за собою ленивый столб пыли, уже успевшей покрыть собою наши гимназические мундиры и фуражки. Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого, ни проклятой алгебры, огорчавшей меня всегда одними только двойками?

Антоша, судя по его жизнерадостному лицу и счастливой улыбке, думал то же самое. Его широко раскрытые глаза говорили: к чему лавка, к чему гимназия, когда есть степь и в этой степи так хорошо и приятно?

Мы глядели на грязную холщовую рубаху Ефима, упершегося ногами в оглобли, на его загорелую шею и на затылок, – и они казались нам красивыми и чуть ли не родными; а тащившая нас некрупная степная лошадка была нам симпатична и мила.

Проехав три или четыре версты, машинист велел кучеру остановиться и спрыгнул на землю. Порывшись у себя под сиденьем, он достал оттуда солидных размеров штоф, приложился к нему и потом передал Ефиму со словами:

– Пей, только не очень, а то пьяный будешь… Да и жаркий же день нынче будет, накажи меня Бог…

Версты через три машинист повеселел и заговорил с кучером про нас.

– Это, Ефимка, такие дети, такие дети, что и… Других таких детей не найдешь. Ихный папаша бакалейной лавкой торгует. Славные дети, накажи меня Бог… Тпру, стой! Я еще выпью… Выпей и ты, только не очень, а то пьяный будешь.

Поехали дальше. Несколько верст машинист разговаривал то сам с собою, то с Ефимом и говорил о винте, о гайке и о строгой графине, но потом умолк. А Ефим неожиданно обернулся к нам и, глядя на нас посоловевшими глазами, ни с того ни с сего спросил:

– А у вашего папаши много денег?

Все это: и бормотание машиниста, и частые остановки, и прихлебывание, и посоловевшие глаза Ефима, и суслики, и знойный воздух – все это нравилось нам. Часа через полтора мы въехали в веселенькую слободку, состоявшую из беленьких, чистеньких и ослепительно блестевших на солнце хаток, крытых соломою, и остановились у кабака. Машинист слез, достал опустевший штоф и скрылся в дверях, казавшихся после яркого солнечного света черными и прохладными. Скоро оттуда послышался голос:

– Ефимка, иди сюда!..

Кучер медленно и лениво пошел на зов и, уходя, буркнул:

– Поглядите, паничи, за конякою. Я сейчас…

Мы охотно согласилась. Но разве утерпишь? Разве не любопытно посмотреть, что делается в кабаке? Через минуту мы оба были уже в грязной, пропитанной сивухою комнате с грязным полом. На грязном и мокром прилавке стоял поднос с двумя толстостенными стаканчиками, а еще дальше – бочонок с позеленевшим краном.

– Пей, Ефим, только смотри, чтобы винт и гайка были целы. Без винта машина не пойдет, накажи меня Бог… Мойше, дай огурчика закусить…

Ефим выпил с трудом и чуть не подавился. Увидев нас, машинист осклабился и стал объяснять стоявшему за прилавком еврею:

– Внуков к дедушке и бабушке везу в гости… Это такие дети, такие дети, что и за деньги не купишь.

– И слава Богу, – сказал равнодушно еврей, даже не взглянув на нас. – У меня тоже дети есть.

Нас потянуло на улицу, которая сразу показалась нам горячей. На белые хатки больно было смотреть. Пирамидальные тополи и зеленые садики не то нежились на солнце, не то страдали от зноя. У колодца с журавлем, вырытого почему-то на самой середине улицы, тощая черная собака жадно лакала из лужи воду. На улице не было ни души. Антоша и я вдруг почувствовали голод, развязали узелок и принялись есть колбасу, пирожки и крутые яйца. Боже, до чего это было вкусно! Впоследствии во всю жизнь мы ни разу не ели с таким дивным аппетитом. К концу трапезы в нашем узелке оставалось уже очень немного. К нам подошла черная собака, завиляла хвостом и стала подбирать кожицу от колбасы и крошки. Мы ее погладили… Через несколько времени в дверях показались машинист и Ефим. Машинист поглядел на солнце и с досадою проговорил:

– Фу, как высоко поднялось, будь оно неладно!.. Пожалуй, нынче до Крепкой не доедем… Винт и гайка целы?.. Накажи меня Бог…

Оба они подошли к дрогам очень нетвердою походкой. Ефим долго усаживался на свое место, а усевшись, уронил вожжи и должен был слезть, чтобы поднять их. Сел и опять уронил. Машинист стоял у дрог, покачиваясь взад и вперед, и никак не мог запрятать под сиденье наполненный штоф. После долгих усилий, однако же, все уладилось и все были на своих местах.

– Вы, господин, смотрите не упадите, – произнес еврей, показываясь в дверях кабака.

– Не твое дело, – обиделся машинист и выбранился.

– Я для вас же говорю, господин, для вашей пользы, – продолжал, нисколько не смущаясь, еврей. – Вы бы легли. Ей-богу, лучше бы легли. А хлопчики сядут по бокам.

Машинист опять выбранил еврея, но задумался и наконец решил:

– А ну-ка и вправду слезьте, дети.

Мы слезли. Машинист растянулся во всю длину дрог, лицом кверху, и с блаженною улыбкою проговорил:

– Как в Царстве Небесном… Садитесь, дети… Ефим, трогай…

Дроги опять покатились. Мы с Антошей кое-как приткнулись, и сидеть нам было ужасно неудобно. Но это только прибавляло веселья. Машинист скоро захрапел, несмотря на то что горячее солнце жгло ему прямо в лицо и в глаза. Ефим замурлыкал какую-то заунывную песенку, но пел ее очень недолго. Не успели мы отъехать и версты от слободы, как голова его бессильно опустилась на грудь и вожжи выпали из рук. Мы с братом переглянулись.

– Ефим заснул! – воскликнул Антоша.

Как бы в ответ на это восклицание тело нашего кучера стало понемногу клониться и валиться на спину и после короткой, но бессознательной борьбы свалилось совсем, и голова его пришлась как раз на плече у машиниста, а ноги болтались у передка дрог. Он тоже начал громко храпеть. Лошадь шла по дороге сама, а вожжи ползли по земле.

Тут для нас с братом наступило настоящее раздолье, начавшееся спором, дошедшим чуть не до драки. Каждому из нас захотелось овладеть вожжами и править лошадью.

– Я буду править! – крикнул я.

– Нет, я! – тоже вскричал Антоша.

– Ты не умеешь…

– И ты не умеешь…

– Нет, умею!

На наше счастье и лошадь встала. Мы оба соскочили с дрог на землю, подняли волочившиеся по дороге вожжи и за обладание ими чуть не подрались. Верх взял, конечно, я, как старший и сильнейший, но решили мы все-таки править по очереди. Ни один из нас до сих пор не держал в руках вожжей, и потому можно себе представить, что испытала бедная лошадь,

когда я, понукая, стал дергать ее изо всей силы. Несколько десятков саженей она действительно будто бы и пробежала, но потом встала и упорно отказалась двигаться с места.

Вожжи перешли в руки Антоши. Он надулся, покраснел от счастья и задергал лошадь еще неистовее, чем я. Несчастная лошадь только замотала головою, я пустил в дело кнут, и к великому нашему удовольствию дроги покатились вперед.

– Ты не умеешь править, а я умею, – торжествовал брат, дергая и хлопая вожжами изо всей силы.

Но торжество его было непродолжительно. Лошадь неожиданно свернула с дороги в поле, засеянное каким-то сочно-зеленым растением, врезалась далеко в траву и принялась с видимым наслаждением лакомиться чужим добром и производить потраву. Как мы ни были глупы и неопытны, однако же сообразили, что вышло что-то неладное. Точно сговорившись, мы бросили вожжи и кнут, уселись как ни в чем не бывало по своим местам и принялись будить и толкать Ефима. Но усилия наши были тщетны.

– Нехай сперва Ванька, а потом уже и я, – бормотал Ефим, не раскрывая глаз.

Принялись за машиниста и стали расталкивать его самым добросовестным образом. Но и тут получился плачевный результат.

Машинист раскрыл глаза, обвел нас мутным, бессмысленным взором, почавкал губами и дружелюбно проговорил:

– После, дети, после… Я знаю… винт…

Он сделал было попытку повернуться поудобнее на бок и освободил плечо, на котором лежала голова кучера, но это ему не удалось, и он захрапел еще слаще и сильнее. А лошадь тем временем подвигалась шаг за шагом все глубже и глубже в зеленое поле. За нами уже осталось позади сажени три измятой свежей зелени, безжалостно притиснутой к земле колесами и копытами. Проезжая дорога виднелась как бы через живой коридор.

Положение наше было и жутко, и комично. И как назло, на пустынной дороге ни одной живой души и ни одного воза!.. Выждав несколько времени, мы попробовали было еще раз потормошить наших менторов, но результат получился тот же. Простояли мы таким манером довольно долго и от нечего делать прогулялись взад и вперед по дороге; посидели на меже, несколько раз подходили к дрогам и опять принимались слоняться. Сначала наше положение занимало нас, а потом наконец нам стало скучно. На дрогах царствовал сон, а лошадь углублялась в чужое засеянное поле все больше и больше. В конце концов стоянка показалась нам до того продолжительной, что нам снова захотелось есть, и мы направились к дрогам, к нашему узелку с остатками провианта. Но тут уже, к нашему неописуемому удовольствию, начиналось пробуждение. У машиниста, вероятно, заболело плечо от тяжелой головы Ефима. Он беспокойно задвигался, открыл глаза, но долго не мог ничего сообразить. Не без труда высвободив плечо, он сел и начал дико озираться. Кучер же продолжал храпеть.

– С нами крестная сила! Где же это мы, накажи меня Бог? – проговорил машинист. – Ефимка, ты спишь, дьявол?!.

Антоша и я наперебой поспешили разъяснить вопрос о том, где мы и что с нами случилось, но при этом, конечно, умолчали о том, что мы оба «правили» лошадью и что лошадь зашла в чужое поле, пожалуй, по нашей вине. Машинист выслушал нас внимательно, выбранился и без всякой церемонии схватил сонного кучера за волосы и стал таскать из стороны в сторону до тех пор, пока тот не проснулся. Испуганный Ефим поспешил вывести лошадь на дорогу и подал совет:

– Садитесь все скорее, надо утекать что есть духу. А то придется платить за потраву, да еще и шею накостыляют…

– Анафема ты собачья, накажи меня Бог! – с отчаянием воскликнул машинист и поднес к лицу кучера судорожно сжатый кулак.

IV

С версту мы промчались чуть не в карьер. Кнут без перерыва свистал в воздухе и безжалостно хлестал несчастную лошадь по бокам.

<…> Версты через две Ефим поглядел на небо и проговорил:

– До ночи мы на постоялый двор не поспеем.

Машинист так и подпрыгнул на своем сиденье.

– Не поспеем? – испуганно проговорил он. – Где же тогда, накажи меня Бог, ночевать будем?

– А я почем знаю? Должно быть, в степи заночевать придется, – спокойно и даже равнодушно ответил Ефим.

Машинист заметно побледнел.

– Может быть, до хутора доедем? – спросил он.

– И до хутора не доедем: проспали.

– О, чтоб тебя, проклятого! Чтоб ты скис, чертов сын! Чтоб ты… накажи меня Господь…

Из машиниста, как из мешка, посыпались брань и укоризны.

– Как хочешь, а поспешай, – проговорил он решительно и строго. – Куда-нибудь приткнуться надо. В степи я ночевать боюсь… Так и знай, что боюсь, накажи меня… С нами дети чужие: им нельзя в степи ночевать. Егор Михайлыч узнает, так он тебя со свету сживет…

По бокам злополучной лошади опять зачастил кнут. Солнце уже заметно склонялось к западу, и Ефим не без тревоги поглядывал на него. Прошло несколько времени – и лошадь, выбившись из сил, пошла шагом. Машинист заволновался. А тут еще и Антоша прибавил ему тревоги, сделав неожиданное заявление.

– Пить хочу. Дайте воды.

– Пить? – встревожился машинист. – Вот тебе и раз! Где я тебе возьму воды в степи? Тут близко ни одной криницы нет. Отчего ты, накажи меня Бог, в слободе не пил, когда проезжали?

– Тогда не хотелось.

– Ну, и дурак, что не хотелось. Теперь жди, покамест до какого-нибудь хутора доедем. Тогда и напьешься… Вот еще наказание…

Заявление брата напомнило и мне о воде; я тоже вдруг почувствовал жажду – и это сразу испортило наше хорошее настроение духа. Теперь уже все – и степь, и дорога, и люди, и лошадь – стали казаться нам скучными и неприятными. Выходило так, как будто бы мы кем-то и чем-то были обижены, и оба мы нахохлились. Ефим поглядел на нас с состраданием.

– А вы, паничи, кислицы поешьте: вам легче будет. Все равно как будто бы напьетесь.

– Что это за кислица? – спросил Антоша.

– Трава такая в степи растет. Погодите, я сейчас вам нарву… Тпру!..

Ефим остановил лошадь, соскочил с дрог и побежал в сторону от дороги, в степь.

– Куда ты, чертов сын? – свирепо закричал машинист. – Тут поспешать надо, а ты… Да я тебя за это убью, накажи меня Бог!..

– А вы покамест выпейте, – крикнул на ходу Ефим. – Я скоро…

Машинист сразу успокоился, перестал протестовать и начал возиться со штофом. Через три минуты мы с Антошей жевали какие-то кисленькие листья, похожие на листья подорожника. Во рту как будто бы посвежело и похолодело, как от мятных капель. Приятное ощущение было, однако же, непродолжительно: его заменила какая-то горечь и жажда усилилась. Мы повесили носы.

Но мы не знали, какой неожиданный сюрприз ждет нас еще впереди.

На юге летние сумерки очень коротки, а в этот вечер они наступили гораздо скорее, нежели всегда. Солнце село в темную, почти черную тучу, и в природе стемнело как-то сразу. Ефим поглядел на эту тучу и крякнул.

– Что такое? – встревожился машинист и тоже стал смотреть на запад.

Кучер промолчал и только пощупал у себя под сиденьем. Машинист пристально следил за его медленными движениями, затем что-то сообразил и вдруг заревел не своим голосом.

– Убью, ежели нас захватит! Накажи меня Господь, убью!..

– Разве же я виноват? Это от Бога, – флегматично процедил сквозь зубы парубок.

– До Ханженкова хутора далеко еще? – взвизгнул машинист.

– Должно быть, верстов восемь будет, – тем же тоном ответил Ефим. – Только это в сторону.

– Сворачивай в сторону, чертов сын… Все равно… Хоть ты тут тресни, а до жилого места довези…Убью… Я страшно этого боюсь… Накажи меня Бог, боюсь.

– Хоть и сверну, так все равно не доедем. Лошадь заморилась. Придется где рысью, а где шагом.

– Ах, ты Господи, напасть какая! – заныл машинист. – И надобно же было такому горю случиться?! И как назло я с собою ничего не взял… А чтоб тебе ни дна, ни покрышки, убей меня Бог…

Он вдруг стал неузнаваем. То он поглядывал на запад, нервно крестился и обращался ко всем угодникам с мольбою о том, чтобы что-то миновало, то разражался неистовой и отчаянной бранью.

– Понимаешь, морда твоя свинячая, что я боюсь?! – повторял он, обращаясь к Ефиму.

– А вы выпейте: тогда не так страшно будет, – посоветовал тот.

– Разве что выпить… Вот, прости Господи, неожиданная напасть… Не дай, Боже, помереть в степи без покаяния…

Антоша и я слушали эту перебранку, разинув рты, и никак не могли понять, чего ради волнуется машинист и что именно так испугало его. Пока он для возбуждения храбрости булькал из штофа прямо в горло и угощал кучера, мы тоже поглядывали на запад, но ничего там не видели, кроме самой обыкновенной черной тучи, заметно увеличивавшейся в размерах. Не видя в ней ничего опасного, я, в те времена уже читавший Майн Рида, стал придумывать какое-нибудь воображаемое приключение, но машинист не дал разыграться моему воображению и обратился к нам с непонятным, но тревожным вопросом:

– У вас, дети, есть что-нибудь?

– Что такое? – спросили мы в один голос.

– Пальтишки какие-нибудь или что-нибудь такое, чтобы укрыться?

– От чего укрыться?

– Ах, Боже мой, какие вы непонятные!.. Промокнете… Не видите разве, какая туча находит?

– Нет. Мы с собою не взяли.

– Ну вот, накажи меня Бог… Как же теперь быть?

В голосе машиниста слышалось отчаяние.

– Что же мне с вами делать? – повторил он. – И как же это вас папаша и мамаша без всего отпустили? В уме они, убей меня Бог, или нет?

Мы промолчали, и я почувствовал страшную неловкость. Перед отъездом нам было приказано взять с собою наши драповые серые гимназические пальто; мать даже выложила их в столовой на самое видное место и несколько раз повторяла мне, как старшему, чтобы я их не забыл. Но в момент отъезда, за прощаниями и за сутолокой, я совсем забыл исполнить это приказание, и наши пальто так и остались в столовой. Родители, провожая и благословляя нас, тоже забыли о них – и мы уехали в одних только мундирчиках…

Перспектива промокнуть была не особенно приятна для нас, и Антоша уже смотрел на меня своими большими глазами и с укоризной.

– Отчего ты не взял? – спросил он меня с упреком.

– А ты отчего не взял? – огрызнулся я.

– Я забыл.

– И я забыл.

Слово за слово, и дело у нас дошло до ссоры. Переругались мы порядочно и, главным образом, потому, что ни один из нас не хотел признать себя виноватым, а туча надвигалась, и волнение машиниста передалось и нам. Ефим же смотрел на нас с заметным состраданием. Выразилось оно в том, что в то время, когда растерявшийся машинист потребовал самой быстрой езды, он остановил лошадь, слез с дрог и начал копаться в своем сиденье. Первым делом он отложил в сторону грубую коричневую свитку, без которой ни один хохол не пускается в путь. Потом достал мешок и небольшую рогожку. Последние два предмета он протянул нам с ласковым приглашением:

– Вот вам, паничи, заместо пальтов. Как дождик пойдет, накиньте на плечи. Оно не так промочит…

Машинист смотрел на нас и на своего запасливого возницу не без некоторой зависти. Оказалось, что и он, отправляясь в дальний путь, не захватил с собою никакой верхней покрышки, вероятно, рассчитывая на неизменно хорошую погоду и на ночевку под кровлею. Долго он стоял и раздумывал, с тоскою и с нескрываемым страхом поглядывая на разраставшуюся тучу, и затем стал довольно красноречиво смотреть на свитку Ефима. Но Ефим делал вид, будто не замечает этого взгляда. Впрочем, его жалостливая душа откликнулась и тут. Он посоветовал машинисту сделать себе покрышку на случай дождя из того холщового длинного рядна, которое было разостлано на сене во всю длину дрог. Машинист ужасно обрадовался, согнал нас с наших мест и стащил дерюгу. Сидеть пришлось теперь прямо на сене.

Лошадь теперь уже не гнали. Да и бесполезно было бы гнать. Она была истомлена до крайности. За весь длинный день пьяные хозяева не покормили и не попоили ее ни разу. Единственным ее кормом было то, что она съела на потраве. Но зато кнутов ей досталось порядочно, и труда от нее потребовали немалого. Только маленькая степная лошадка может быть так выносliва.

Должно быть, и лошадь предчувствовала, что в природе должно произойти что-то особенное и необычайное. Она беспокойно водила ушами, фыркала, часто поворачивала голову назад, навстречу чуть заметному ветерку, и широко раздувала ноздри. Это не ускользнуло от внимания Ефима.

– Коняка, а погоду чует, – проговорил он.

Погода действительно резко переменилась. Черная туча, сначала наступавшая очень медленно, теперь двигалась быстро и уже заняла большую половину неба. Белесоватый край ее повис уже над самыми дрогами, а передовые мелкие тучки в виде небольших, оборванных по краям лоскутов неудержимо забегали и рвались вперед. Сумерки сгущались с неимоверной быстротой и падали на степь преждевременною ночью. Степь затихла, замолкла и притаилась, точно придавленная тяжестью надвигающейся тучи. Воздух застыл словно от испуга. В траве не было слышно ни одного из обычных степных звуков – ни стрекотания насекомых, ни писка сусликов и мышей. Не было слышно ни дерганья коростеля, ни ваваканья перепела. Все замерло и притаилось. Природа готовилась к чему-то торжественному.

Неожиданно откуда-то издалека донесся унылый крик совы.

– На свою голову, будь ты проклята! – суеверно произнес машинист.

По его мнению, крик совы предвещал несчастие. Он нервно задвигался и стал бесцеремонно толкать нас обоих локтями в спины. Это он напяливал на себя рядно так, чтобы закрыть

им не только голову и плечи, но и лицо. Он боялся увидеть то, что должно произойти, и старался наперед трусливо зажмуривать глаза.

С каждою минутою становилось все темнее и темнее. Сначала исчезли из глаз более отдаленные стебли высокого бурьяна, потом заволоклись тьмою края дороги, а через несколько минут Ефим с оттенком покорности в голосе проговорил:

– Нема дороги. Не бачу (не вижу). Нехай коняка сама везет, как знает…

Он подложил конец вожжей под себя, всунул руки в рукава свитки, как во время мороза, выгнулся всем туловищем вперед и стал ждать, что будет. Нам все-таки он сказал сердобольно:

– Хорошенько закутайтесь, паничи, в мешок да в рогожу. Здоровый дождик будет… А то, чего доброго, и воробьиная ночь.

– Чтоб ты скис, поганец, со своей воробьиной ночью! – отозвался из-под своего прикрытия машинист. – Типун тебе на язык. Ты еще нагадаешь (напророчишь)! Тут и так страшно, а ты, накажи меня Бог…

Воробьиной ночью в Малороссии называется такая страшная грозовая ночь, что даже воробьи от испуга вылетают из своих гнезд и мечутся как угорелые по воздуху.

– Погляди хорошенько по сторонам, не видно ли где-нибудь огонька, – ухватился за последнюю надежду машинист. – Где огонь, там хата.

Ефим не успел ответить. Яркая ослепительная молния перерезала небо от одного края до другого и на миг осветила всю степь со всеми ее подробностями. Мы все вздрогнули. Лошадь от испуга попятилась назад. Через несколько секунд над самыми нашими головами раздался оглушительный треск, понесся по небу бесконечными трескучими раскатами и замер где-то вдали грозным, гремучим грохотом.

– Свят, свят, свят! – в испуге зашептал машинист.

Не успел он дошептать, как степь осветилась от второй такой же молнии и раздался такой же ужасающий треск. За ними другая и третья молния с громом – и пошла греметь без перерыва.

Грузно ударила об мою рогожу первая крупная капля дождя, и не успел я опомниться, как вдруг с неба обрушился жестокий ливень – ливень, знакомый только нашим южным степям. Когда вспыхивала молния и на миг освещала дождь, то перед нашими глазами открывались не нити дождя, а сплошная стена воды без разрывов, точь-в-точь, как рисуют низвергающуюся воду в водопаде.

Не прошло и двух минут, как мы все уже были мокры насквозь. Холодная вода неприятно текла между лопаток, по спине и по всему телу и вызывала дрожь. Платье и белье прилипли.

Было страшно и жутко. Мы все, с наброшенными на головы и плечи мокрыми мешками и рогожею, казались друг другу при вспышках молнии какими-то уродливыми чудищами. Машинист, страшно боявшийся грозы, взобрался на дроги с ногами, съежился под своею дерюгой, согнулся в три погибели и превратился в какой-то безобразный ком со страшными очертаниями. Он не переставая молился и молился жалко и трусливо. Один только Ефим, одетый в свитку, представлял собою фигуру с человеческими очертаниями, и это несколько успокаивало нас.

Долго, бесконечно долго тянулись мы на измученной лошади, с боков которой ручьями стекала вода. Степная дорога превратилась в липкую грязь, облепившую колеса по ступицу. Казалось, что не будет конца ни грозе, ни ливню, ни ознобу, пронизывавшему нас насквозь. У меня застучало в висках и заболела голова. Затем мне стало «все равно», и я не могу отдать себе отчета – задремал ли я или же у меня помутилось в глазах. Вероятно, это была лихорадочная дрема, потому что я хорошо чувствовал и сознавал, как Антоша навалился на меня сбоку всем телом и беспомощно положил голову ко мне на плечо. Я заглянул ему в лицо и при блеске молнии увидел, что глаза его закрыты, как будто бы он спит.

Не помню, долго ли тянулось это дремотно-равнодушное состояние среди разбушевавшейся стихии, но меня разбудил голос Ефима.

– Вот коняка и привезла, – радостно воскликнул он. – Куда привезла, не знаю, а только привезла… Добрая скотина… Слезайте… Приехали…

Что было дальше – я помню плохо. Помню, что перед моими глазами вдруг выросла белая стена какой-то хатки с соломенной крышей, что мне пришлось будить Антошу, уснувшего на моем плече, и что мы вошли в грязную комнату с сивушным запахом. Помню еврейский озабоченный говор. Кто-то раздел Антошу и меня догола, и чьи-то грубые руки стали ходить по моему телу, от которого сейчас же нестерпимо запахло водкой. Как сквозь туман я видел, что то же самое проделывали и с Антошей.

– Ой, вей, паничи… Какие же хорошие молодые паничи! Янкель, принеси с нашей кровати одеяло и подушку, – говорил певучий голос еврейки. – Мы обоих паничей положим под одну одеялу…

По моему телу стала разливаться приятная теплота. Скоро я почувствовал себя лежащим под теплым ватным одеялом. Рядом со мною лежал Антоша. Меня начала одолевать истома и клонило ко сну. По полу шлепали туфли, и по звуку слышно было, что они одеты на босую ногу. За стенами комнаты по-прежнему бушевала воробьиная ночь. В узенькие окошечки врывалась молния, и вся комната дрожала от раскатов грома. Но теперь мне уже не было ни страшно, ни жутко, ни холодно. Только во рту было гадко и в голове вертелась назойливая мысль.

«Я простудился, и Антоша тоже захворал… И зачем только мы поехали?..»

– О, какие же хорошие паничи! Мы повесим ихнюю одежу в сенях на веревку: нехай сохнет… Ой, какие паничи!..

Это было последнее, что я слышал, а затем мир перестал для меня существовать.

V

Утром мы проснулись как ни в чем не бывало – оба веселые и жизнерадостные: ни озноба, ни лихорадки, ни насморка. В узенькие, маленькие окошечки бил яркий свет. Толстая, средних лет и довольно грязная еврейка, шлепая туфлями, принесла нам наше платье и заботливо и ласково поздоровалась.

– Ну, как вы, паничи, поживаете? Чи хорошо вы спали? Как ваше здоровьечко? А какие вы вчера были мокрые! О, вай… Янкель вас водкой мазал… Одежда не совсем еще высохла, только это ничего: солнышко досушит… Одевайтесь.

Еврейка вышла, а мы с братом стали быстро надевать на себя полувлажное белье, прикосновение которого холодило тело и вызывало приятную дрожь. Мы были здоровы и искренно радовались этому. Вчерашняя воробьиная ночь, со всеми ее ужасами, казалась нам чем-то отдаленным, похожим на сон. Одеваясь, мы осматривались с любопытством по сторонам. Обстановка была такая же, как и в том кабаке, в котором вчера машинист и Ефим пили водку. Стало быть, мы опять попали в кабак. Но слава Богу и за это. Иначе что было бы с нами, если бы лошадь, руководствуясь инстинктом, не набрела ночью на это жилье? Мы, наверно, серьезно захворали бы от простуды, а может быть, даже и умерли бы. Воробьиная ночь – не шутка…

Надев мокрые мундирчики и фуражки, мы поспешили выйти на воздух, где нас сразу ослепило ярким светом. Небо было голубое, чистое и такое глубокое, что трудно было поверить, чтобы между ним и землею могли ходить тяжелые, мрачные тучи вроде вчерашних. Пирамидальный тополь, два или три вишневых деревца и бурьян, росший во дворе, еще не обсохли и блестели золотом. В воздухе было тихо. В небе заливался жаворонок, и ему вторила коротеньким нежным писком какая-то птичка на тополе. Природа точно помолодела. Все дышало какой-то особенной, невыразимой прелестью, и мы с Антошей тоже дышали полной грудью

и чувствовали, как в нас с каждым вдыханием вливается что-то свежее, здоровое, приятное, живительное и укрепляющее. Хорошо! Ах, как хорошо!

Мы побежали к колодцу и стали умываться, брызгаясь, шаля и обливая друг другу голову прямо из ведра. А таскать воду из колодца – какое наслаждение! Дома нам, наверное, запретили бы это удовольствие, и мать в испуге, наверное, закричала бы:

– Нельзя! нельзя! Упадете в колодец! утонете!

А тут свобода! Делай что хочешь… Полотенца у нас не было, и мы, глядя друг другу на мокрые лица и головы, весело рассмеялись. Сзади нас тоже послышался смех. Мы оглянулись. На завалинке, вытянув ноги и заложив руки в карманы, сидел машинист. Вся его фигура выражала благодушие.

– Вот теперь и утирайтесь, чем хотите, – заговорил он. – Это не у папаши с мамашей. Ага! Попались! Ничего, обсохнете.

Мы, мокрые, сели рядом с ним, и нам было очень весело: все это было так забавно и непохоже на городскую жизнь.

– Жаркий денек будет нынче после вчерашней грозы, – проговорил машинист, подбирая ноги. – А и гроза же была, чтоб ей пусто было! Я уже думал, что тут мне и капут, накажи меня Господь… Скоро можно и ехать по утреннему холодку. Как только Ефимка проснется, так и запрягать. Вы не знаете, дети, где Ефимка спит? По правде сказать, я вчера от грозы был того. Не помню, накажи меня Бог, где приткнулся и как заснул… Теперь, слава Богу, выпил шкалик и поправился… Вы только дедушке с бабушкой не рассказывайте. Дедушка хоть и хороший человек, а ябеда… Ну, Господи благослови!

Он вытащил из кармана новый шкалик, выпил его и стал еще веселее. Откуда-то, из какого-то сарая выполз Ефим с сеном в волосах и на одежде и стал, зевая и потягиваясь, глядеть на солнце.

– Вот и ты! – обрадовался ему, как родному, машинист. – Снаряжайся да и запрягай: поедем по холодку…

Вскоре мы выехали. От предложенного евреем самовара машинист и Ефим отказались, а еврейка, заметив наши по этому поводу кислые мины, сунула нам с братом в руки по два бублика.

В воздухе было прохладно и удивительно тихо, а солнце, не успевшее еще накалить землю и воздух, разливало вокруг кроткую негу и ласкающую теплынь.

Наши путники, по-видимому, были проникнуты прелестью утра. К штофу прикладывались реже, и, подъехав к ближайшей слободе, машинист даже выразил желание напиться чаю. Остановились у крайней хаты, из трубы которой поднимался к небу дымок. На наше счастье, у хозяев-хохлов нашелся кипяток, а у машиниста в кармане оказались чай и сахар. Началось чаепитие, сдобренное штофом, из которого было налито по доброй порции хозяину и хозяйке. После такого угощения хозяйское гостеприимство развернулось во всю ширь: на столе появились деревенские сдобные бублики, книши, пампушки, яйца и молоко. Мы с Антошей блаженствовали и уписывали за обе щеки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.